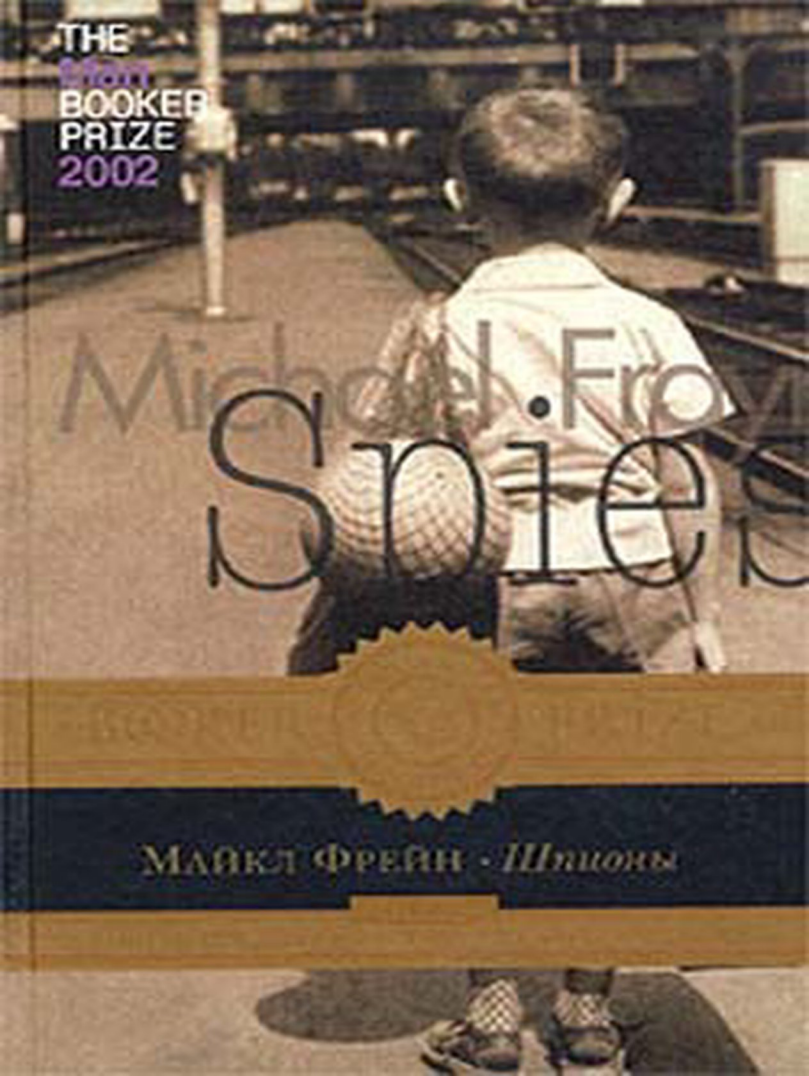
THE
BOOKER
PRIZE
2002
Michael Frayn
Spies
Майкл Фрейн · Шпионы

Шпионы
Майкл Фрейн

Аннотация
Майкл Фрейн. Шпионы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Аннотация

Лондонское предместье, начало 1940-х. Два мальчика играют в войну. Вообразив, что мать одного из них – немецкая шпионка, они начинают следить за каждым ее шагом. Однако невинная, казалось бы, детская игра неожиданно приобретает зловещий поворот… А через 60 лет эту историю – уже под другим углом зрения, с другим пониманием событий – вспоминает постаревший герой.

Майкл Фрейн (р. 1933), известный английский писатель и драматург, переводчик пьес А. П. Чехова, демонстрирует в романе «Шпионы» незаурядное мастерство психологической нюансировки. Это тонкая проза, главное в которой – сложная игра восприятий; образ реальности складывается здесь подобно паззлу, составлять который – ни с чем не сравнимое интеллектуальное наслаждение. В 2002 году роман был включен в лонг-лист Букеровской премии.

Майкл Фрейн
Шпионы

1

Стоит середина июня, и опять доносится этот сладковатый, очень знакомый запах; каждое лето он возникает примерно в одно и то же время и почему-то вызывает неловкость. Я неторопливо иду по нашей тихой улочке мимо ухоженных садиков и, уловив в теплом вечернем воздухе этот аромат, на мгновение вновь становлюсь маленьким мальчиком, у которого все впереди — все то страшное, непонятное, что сулит жизнь.

Тянет явно из какого-то сада. Из которого? И что это за запах? Нет в нем ни нежной до сердечной истомы сладости цветущих лип, которыми славится этот городок, ни безмятежного счастья, которым веет от благоухающей жимолости. Запах резкий, грубый. Даже неприятный. В нем есть своеобразная чувственная назойливость! Как всегда, он лишает меня душевного равновесия. Я начинаю испытывать… Что же именно?.. Смутное беспокойство. Неодолимое желание оказаться за леском, в который упирается улица, и еще дальше, дальше. В то же время меня гложет тоска по тому самому месту, где я нахожусь.

Разве так бывает? И чудится, будто до сих пор не разрешена некая загадка, будто в окружающем воздухе растворена нераскрытая тайна.

Летний ветерок снова доносит тот запах, и я осознаю, что на самом деле меня тянет в собственное детство. Быть может, дом, по которому я тоскую, несмотря ни на что, по-прежнему стоит там, где стоял. Из года в год, когда июнь переваливает за середину и в ноздри лезет этот неприятный душок, я непроизвольно отмечаю про себя, что билеты на самолет в ту дальнюю соседнюю страну стоят очень дешево. Раз за разом я поднимаю телефонную трубку, чтобы сделать заказ, и раз за разом кладу ее на место. Известно же, в прошлое дороги нет… Стало быть, не поеду никогда? Решено? Но ведь я старею. Вдруг в этом году — последняя возможность? Кто знает…

Но что все-таки такое парит в летнем воздухе, тревожа душу, навевая страх? Если бы я только знал, как называется этот колдовской цветок, если бы я его увидел, то сразу понял бы, в чем кроется его сила. Я провожаю дочь и двоих ее малышей к машине — пожив здесь недельку, они уезжают домой — и вдруг опять слышу тот же запах. Трогаю дочь за плечо. Она хорошо разбирается в растениях.

— Понюхай. Чувствуешь? Вот… Сейчас донесло… Чем это пахнет?

Она старательно принюхивается.

— Обыкновенной сосной.

На здешней песчаной почве во всех окрестных садах растут сосны, укрывая скромные домики от летнего зноя; благодаря соснам знаменитый своей целебностью местный воздух особенно чист и живителен. Однако душок, незаметно, но настойчиво вползающий в ноздри, не отличается ни свежестью, ни смолистостью. Дочь морщит нос:

— Или ты имеешь в виду этот довольно… простецкий запах?

Мне становится смешно. А ведь она права. Запах действительно довольно вульгарный.

— Самбукус нигра, — произносит дочь.

Самбукус нигра… Эти слова мне ничего не говорят. Слышать-то я их, конечно, слышал, но растения не помню и не могу объяснить его власть надо мной.

— Кустарник, очень распространенный, — продолжает дочь. — Ты наверняка встречал его в парках. С виду редкостно заурядный. Всегда наводит на меня тоску, вроде дождливого воскресенья.

Самбукус… И все же это словцо нашептывает

мне о чем-то тайном, темном и тревожном, что погребено в сокровенных уголках моей души, о чем не хочется даже думать… Среди ночи я просыпаюсь, и в мозгу стучит это слово. Самбукус нигра…

Но постойте… Разве дочь назвала его по-английски? Я снимаю с полки словарь… Конечно, нет. Увидев английское название, я снова не могу удержаться от смеха. Ну разумеется! Как это я сразу не понял! На сей раз я смеюсь уже от смущения, потому что негоже профессиональному переводчику спотыкаться на таком незамысловатом слове; к тому же теперь, когда я понял, что это за кустарник, его название кажется идиотски банальным — не должно бы оно вызывать у меня столь сильные ощущения.

Многое нахлынуло разом. Сначала слышу смех. Летний день почти шестьдесят лет назад. До сих пор это воспоминание не всплывало никогда, но сейчас я вдруг явственно вижу ее, мать моего друга Кита: в зеленой тени того давнего лета ее карие глаза искрятся смехом при виде сделанной сыном надписи. И мне конечно же ясно, что ее рассмешило, ведь теперь я знаю, запахом какого растения напоен воздух.

Но вот смех уже не слышен. Она сидит передо

мной в пыли и горько плачет, а я ума не приложу, что тут делать и что говорить. А вокруг, незаметно просачиваясь в сокровенные глубины моей памяти, чтобы остаться со мной до конца моих дней, опять висит тот противный, но манящий душок.

Мать Кита… Сейчас ей, наверное, за девяносто. Или уже умерла. Любопытно, кто из остальных еще жив? И кто из них помнит прошлое?

А сам Кит? Возвращается ли он мыслями к событиям того лета? Не исключено, что он тоже умер.

Возможно, я единственный, кто все это еще помнит. Хотя бы частично. Перед глазами, сменяя друг друга, мелькают бессвязные видения. Сноп искр… Стыд… Кто-то невидимый пытается сдержать кашель, опасаясь, что его услышат… Накрытый кружевной салфеткой кувшин; чтобы салфетку не сдуло ветром, к ней пришиты четыре синие бусины…

Да, и еще фраза, которую произнес мой друг Кит, — с нее эта история и началась. Как правило, не так-то легко бывает буквально вспомнить фразу, сказанную кем-нибудь полвека назад, но слова Кита сразу всплывают в памяти, их и было-то всего ничего. Ровным счетом четыре. Брошенные небрежно, словно мимоходом, они

слетели с его губ легко, невесомо, как мыльные пузыри. И, однако, в один миг все изменили.

Так ведь со словами и бывает.

Внезапно я чувствую, что, раз уж я начал вспоминать, хочется поразмыслить не торопясь; хочется все упорядочить, осознать связь событий. Ведь многого никто никогда и не объяснял. И даже не называл вслух. Секреты, секреты. Хотелось бы вытащить их наконец на свет божий. И хотя я уже определил источник моей тревоги, все это время меня гнетет смутное ощущение, что где-то под спудом таится неразрешенная загадка.

— Я на несколько дней уезжаю в Лондон, — объявляю я детям.

— А есть телефон или адрес, на случай если понадобится с тобой связаться? — спрашивает не терпящая никакой неясности дочь.

— Наверное, Закоулки Памяти, — сухо роняет сын.

Мы, естественно, говорим между собой по-английски. Он, очевидно, чует мое беспокойство.

— Именно, — откликаюсь я. — Последний поворот перед «желтым домом», а там идо проспекта Амнезии рукой подать.

Не рассказывать же им, что я хочу отыскать тот кустарник, который каждое лето цветет две-три

недели, лишая меня душевного покоя.

И уж, само собой, не сообщаю им названия этого кустарника. Мне и про себя-то не хочется его повторять. Слишком уж оно нелепое.

2

Добравшись до места, я убеждаюсь: там все как прежде и все переменилось.

Прошло чуть не полвека с того дня, когда я в последний раз сошел с поезда на этой маленькой деревянной платформе, однако ноги сами собой, как во сне, уверенно несут меня от станции вниз по склону, к главной улице, в разгар дня умеренно оживленной, затем налево к веренице разнокалиберных магазинчиков, а потом от большого уличного почтового ящика опять налево, на знакомый длинный проспект. Главная улица полна аляповатых примет современных транспортных новшеств, у магазинов безликие шаблонные названия и фасады; а походившие на прутики сливовые саженцы, которые, помнится, тогда натыкали вдоль тротуаров, превратились в осанистые, умудренные жизнью деревья. С проспекта я опять сворачиваю за угол, в Тупик…

Тут все как всегда. Та же спокойная, скучная, милая сердцу обыденная жизнь.

Я стою на углу, присматриваясь, прислушиваясь, принюхиваясь, и не пойму: возвращение

сюда после стольких лет меня растревожило или оставило совершенно равнодушным?

Я медленно бреду к круговому развороту в конце Тупика. Те же четырнадцать домиков, как и раньше, с невозмутимым самодовольством нежатся под дремотным полуденным солнцем. Я медленно бреду назад к углу. Все в точности как прежде. Не понятно, почему это меня удивляет. Я ведь и не ждал особых перемен. И всё же, за пятьдесят-то лет…

Впрочем, когда проходит первое потрясение от знакомого с детства зрелища, я замечаю, что на самом деле все не совсем как прежде. Изменения кругом огромные. Дома стали уныло опрятными, в их архитектурной разностилице появилось некоторое единообразие в виде новых крылечек, фонарей и новомодных декоративных деревянных балок. А ведь на моей памяти каждый из них был на особинку и, так же как его обитатели, ничуть не походил на соседей. За изгородью из роз, жимолости, лип или будлеи каждый дом скрывал в себе какую-то тайну. Нынче же почти вся эта пышная растительность исчезла, а на ее месте возникли бетонированные площадки с автомобилями. Вереницы машин молча выстроились и вдоль тротуаров. Четырнадцать

самостоятельных мини-государств слились, образовав нечто вроде благоустроенной городской автостоянки. Все тайны уже раскрыты. В воздухе повсеместно веет лишь тонким ароматом быстрорастущих вечнозеленых растений. Но, хотя стоит жаркий день позднего июня, того дикого, малоприличного запаха, что заманил меня сюда, нет и в помине.

Я поднимаю глаза к небу; из века в век, из поколения в поколение оно единственное не меняется ни в сельских, ни в городских пейзажах. Однако и небо переменилось. Когда-то война писала по нему свои неразборчивые каракули в виде дымного шлейфа героических истребителей. По ночам его щупали пальцы прожекторов, огромными цветными куполами опускались с него осветительные ракеты. А теперь даже небо стало кротким и безмятежным.

Я в замешательстве топчусь на углу. Неужто я пустился в это долгое путешествие только для того, чтобы пройтись по улице взад-вперед, вдыхая запах кипарисовых изгородей? Но что дальше делать и каких еще ощущений ожидать, я не знаю. Моя программа исчерпана.

И тут окружающая меня атмосфера заметно меняется; прошлое словно бы мистически мате-

риализуется прямо из воздуха.

Через мгновение до меня доходит, в чем причина волшебства: это звук, шум приближающегося поезда, поначалу приглушенный и далекий, но потом, когда электричка миновала выемку на возвышенности в конце Тупика, шум беспрепятственно нарастает; точно так же тарахтела электричка, на которой я приехал двадцать минут назад. Невидимый состав идет по насыпи позади домов на левой стороне улицы и, прогромыхав по мосту, замедляет ход перед станцией.

Под эти знакомые, заведенным порядком сменяющие друг друга звуки Тупик преображается у меня на глазах. Дом на левом углу, у ограды которого я стою, становится домом Шелдонов, а тот, что напротив, — домом Хардиментов. Теперь доносятся и другие звуки. Бесконечное клацанье садовых ножниц за высокой буковой изгородью (ныне уже не существующей) — это работает мистер Шелдон. Бесконечные гаммы — это в сумрачной глубине дома, отгороженного от улицы вереницей лип с аккуратно переплетенными ветвями (липы на месте), упражняются бледные дети Хардиментов. Если я поверну голову, то чуть подальше наверняка увижу двойняшек Джист: сестры играют в какие-то замысловатые

«классики», одинаковые косички одинаково подпрыгивают… А на подъездной дорожке, ведущей к дому Эйвери, высится груда деталей от трехколесного велосипеда, который собирают перепачканные машинным маслом Чарли и Дейв…

Но я, естественно, не могу оторвать глаз от дома номер два, что рядом с домом Хардиментов. Удивительное дело, даже он теперь выглядит так же, как все прочие, хотя у него с домом номер три одна стена смежная — другого такого в Тупике нет. Оказывается, за эти годы дом обзавелся собственным названием: «Вентуорт». Когда в нем жил я, дом обладал лишь номером, да и того, в сущности, не было, потому что табличка на столбе у калитки была замазана креозотом. И все-таки, несмотря на новое пышное название, на слой свежей белой штукатурки и строгий порядок в палисаднике, на ровную безликую лужайку, расчерченную мощеными дорожками, от него, как и раньше, исходит еле ощутимая неловкость. Под белой гладкой штукатуркой я почти вижу прежнюю — серую, растрескавшуюся, в потеках. Сквозь тяжелые каменные плиты пробиваются призраки маленькой плешивой лужайки и разномастных кустов неизвестного происхожде-

ния, за которыми отец не ухаживал никогда. Это постыдное зрелище усугублялось еще и вынужденным соседством с домом номер три, который вид имел еще хуже нашего: в саду у Стибринов высилась гора старой, никому не нужной, покоробившейся под дождями мебели и деревянных и металлических обрезков, которые мистер Стибрин тайком таскал с работы, — во всяком случае, таково было всеобщее мнение. Возможно, из-за его фамилии, озаряет меня догадка. Во всяком случае, обитатели Тупика смотрели на Стибринов с пренебрежением, даже с большим, чем на нас, а из-за проклятой неразделимости домов мы тоже падали в глазах местного общества вместе с семейством Стибрин.

Вот что я вижу, глядя на все это сейчас. Интересно, а он, в его возрасте, так же это видит? Я имею в виду неуклюжего мальчика, который живет в запущенном доме между Хардиментами и Стибринами. Я говорю о Стивене Уитли, лопоухом парнишке, у которого куцая форменная рубашка из серой фланели вечно болтается над слишком длинными форменными шортами из той же серой фланели. Вот он выходит из покоробленной двери своего дома, запихивая в рот остатки полдника. Все на нем серое, только разных от-

тенков, — даже полосатый прорезиненный пояс с пряжкой в виде металлической змеи, изогнувшейся латинской буквой S. И полоски на поясе светло– и темно-серые, как на ленте допотопной шляпы-канотье. Парнишка с ног до головы одноцветный, одноцветный потому, что таким я представляю его по черно-белым фотографиям, которые хранятся у меня дома; когда я показываю их внукам и говорю, что это я, они недоверчиво хихикают. Мне понятно их недоверие. Если бы не эти снимки, я понятия не имел бы, как выглядит Стивен Уитли; если бы не написанное на обороте карточек имя, мне бы и в голову не пришло, что он имеет ко мне какое-то отношение.

Однако даже сейчас я кончиками пальцев ощущаю восхитительную шершавость чешуйчатой змеи на пряжке.

Стивен Уитли… Или просто Стивен… В школьном табеле — С. Д. Уитли, в классе или на спортплощадке — просто Уитли. Странно. Я гляжу на него, и мне кажется, ни одно из этих имен ему не подходит. Прежде чем захлопнуть за собой дверь, он поворачивается и в ответ на очередную высокомерную насмешку несносного старшего брата выкрикивает с набитым ртом какое-то жалкое ругательство. На одной из замызганных теннисных

тапок развязался шнурок, один из серых гольфов гармошкой сполз вниз; даже сейчас — не менее отчетливо, чем ребристость змеиных чешуек, — я ощущаю под кончиками пальцев безнадежно ослабшую резинку, на которой держится гольф.

Понимает ли Стивен, в его возрасте, какое положение занимает в Тупике? Прекрасно понимает, даже если сам этого и не совсем сознает. Мозжечком чувствует: что-то у него и его родных не как надо, чем-то он отличается от девочек Джист с их смешными косичками, от перепачканных машинным маслом братьев Эйвери, и так оно будет всегда.

Ему незачем открывать калитку, она уже открыта и болтается, как пьяная, на нижней петле, поскольку верхняя проржавела насквозь. Я знаю, куда он идет. Не через дорогу к Норману Стотту; сам Норман, может, и ничего, но его младший братишка Эдди странный какой-то: вечно путается под ногами, лыбится, пуская слюни, и все норовит тебя потрогать. Не к мальчикам Эйвери, не к двойняшкам Джист. И уж конечно не к Барбаре Беррилл, хитрющей и коварной, как большинство девчонок; вдобавок старший брат Стивена Джефф повадился, насандалив какой-то дрянью волосы, гулять с Дидре, старшей сестрой

Барбары. Попыхивая сигаретами, они слоняются в сумерки по улицам, и теперь Барбара совсем опротивела Стивену. Отец Дидре и Барбары ушел на фронт, и девчонки, по общему мнению, совсем отбились от рук.

А Стивен, как я и предполагал, уже переходит улицу. Он поглощен своими мыслями и даже не поворачивает головы, чтобы посмотреть, нет ли на дороге машин; впрочем, какие уж машины в разгар войны, разве только проедет случайный велосипедист да неторопливо процокает копытами лошадь, тянущая тележку с молоком или хлебом. Погруженный в неясные мечты, полуоткрыв рот, Стивен медленно бредет через улицу. Какие чувства я испытываю, глядя на него? Больше всего, пожалуй, меня подмывает взять его за плечи, тряхнуть хорошенько и сказать: «Очнись, экий ты… *недотепа*». Не у одного меня, помнится, возникало такое желание.

Я иду за ним мимо «Тревинника», таинственного дома, где шторы всегда задернуты, а сад за холодным частоколом из темных северных елей пребывает в полном запустении. Однако, в отличие от дома Стибринов или нашего, ничего неподобающего в «Тревиннике» нет; его угрюмая замкнутость даже обладает зловещей притяга-

тельностью. Никто не знает имен его обитателей, неизвестно, сколько их там. Лица у них смуглые, одежда черная. Приходят и уходят они в ночной непроглядной тьме, а при свете дня никогда не раздвигают маскировочных штор.

Стивен тем временем направляется к соседнему дому номер девять. Это «Чоллертон». Там живут Хейуарды. Он открывает белую калитку на отлично смазанных петлях и старательно закрывает ее за собой. Идет по ровной, аккуратно выложенной красным кирпичом дорожке, огибающей клумбы с розами, и берется за кованое кольцо, висящее на тяжелой дубовой двери. Дважды почтительно стучит. Плотная дубовая древесина приглушает и эти негромкие звуки.

Стоя за калиткой, я исподволь осматриваю дом. Он изменился меньше других. Тускло-красный кирпич не искрошился даже на углах; деревянные оконные рамы, щипцы на крыше и двери гаража так же безупречно белоснежны, как и прежде, когда их красил сам мистер Хейуард. В белом комбинезоне без единого пятнышка — в точности как плоды его труда, — он работал сутра до вечера, и все насвистывал, насвистывал… Красная кирпичная дорожка по-прежнему вьется среди розовых клумб с такими же геометриче-

ски четкими кромками, как и раньше. Входная дубовая дверь по-прежнему не окрашена, в ней поблескивает все то же крошечное ромбовидное окошко, забранное рифленым стеклом. На скромной, видавшей виды медной дощечке — прежнее название: «Чоллертон». Здесь, во всяком случае, прошлое сохранилось идеально.

Стивен ждет у двери. Теперь — увы, слишком поздно — он вспоминает про свой внешний вид. Подтягивает спустившийся гольф, наклоняется, чтобы завязать шнурок. Но дверь уже на фут-другой приоткрылась, из темной глубины дома появляется мальчик, ровесник Стивена. На нем тоже серая фланелевая рубашка и серые фланелевые шорты. Однако рубашка у него отнюдь не куцая, а шорты ему в самый раз. Аккуратно натянутые серые гольфы ровно на дюйм не доходят до колен, коричневые кожаные сандалии аккуратно застегнуты.

Он поворачивает голову. Я знаю почему. Он слышит голос матери, она спрашивает, кто пришел. «Это Стивен», — отвечает мальчик. «Тогда либо пригласи его в дом, либо ступайте играть во двор, — говорит она, — только не стойте на пороге, ни там ни сям».

Кит распахивает дверь. Стивен торопливо

шаркает подошвами по металлическим прутьям скребка для ног, потом по коврику в прихожей, и гольф на ослабшей резинке снова сползает вниз. Дверь закрывается.

Тут и началась вся эта история. В доме у Хейуардов. В день, когда мой лучший друг Кит впервые произнес четыре немудрящих слова, которые полностью переменили наш привычный мир.

Интересно, что там, за этой дверью, сейчас? Прежде с порога в глаза бросалась массивная дубовая полированная вешалка с зеркалом, разнообразными одежными щетками, рожками для обуви, крючками для застегивания пуговиц и стойкой для тростей и зонтов. А уже за порогом открывалась обшитая темным дубом прихожая, на стенах которой висели две акварели с видами долины Троссакс[1], кисти члена Королевской академии художеств Алфреда Холлингса, и две фарфоровые тарелки, изрисованные синими пагодами и узенькими синими — мостиками, по которым идут маленькие синие фигурки в шляпах из рисовой соломы. Между дверьми в гостиную и столовую высились большие наполь-

[1] Примечания: 1

Троссакс — живописная долина в центральной Шотландии. *(Здесь и далее прим. перев.)*

ные часы, бившие каждые пятнадцать минут то одновременно, то вразнобой с часами в других комнатах, и четырежды в час дом наполнялся волшебной, всякий раз новой музыкой.

А центром этого мира был мой друг Кит. Картина уже не представляется мне однотонной, скорее всего, потому, что я вижу цвета наших поясов. На черном пояске Кита, тоже с пряжкой в виде змеи, изогнувшейся латинской буквой S, — две желтые полосы, на моем — две зеленые. Это своего рода социальный цветовой код, очень удобный. Желтый с черным — цвета хорошей местной приготовительной школы, все ее ученики будут сдавать и обязательно сдадут единый вступительный экзамен в частную школу; у каждого там своя собственная крикетная бита, собственные бутсы и щитки и даже собственная длинная сумка специально для этого снаряжения. А зеленый с черным — это цвета другой, захудалой школы, где половину составляют долговязые олухи, вроде моего брата Джеффа, уже провалившиеся на едином экзамене; в крикет там играют измочаленными школьными битами, причем некоторые ученики выходят на площадку в коричневых спортивных тапках и серых школьных шортах.

Уже в ту пору я остро сознавал, что мне немыслимо повезло: я дружу с Китом. Теперь же, в зрелом возрасте, вспоминая былое, я тем более дивлюсь этой дружбе. Не только пояс, но все, окружавшее Кита, было *желто*-черным; а все, окружавшее меня, было явно *зелено*-черным. В нашей с ним армии числилось всего двое военнослужащих; Кит, разумеется, представлял собой офицерский корпус, а я — рядовой и сержантский состав, чем был чрезвычайно доволен.

У нас возникало множество затей и планов, и во всех наших нередко рискованных предприятиях Кит был ведущим, а я ведомым. Теперь-то я понимаю, что в моей жизни он оказался всего лишь первым в целой череде властных людей, чьим верным последователем я становился. Основу непререкаемого авторитета Кита составляло его умственное превосходство и богатое воображение. Не я, а Кит придумал подвесить между нашими домами канат и с его помощью перебрасывать туда-сюда записки, наподобие того, как выдаются чеки и сдача в местных бакалейных лавках. Позже он изобрел потрясающую подземную железную дорогу на пневматической тяге. Идею он позаимствовал во время походов в ближний универмаг, куда мы могли шастать

беспрепятственно сколько душе угодно, так как никто не обращал на нас внимания; там мы и приметили, как работает ихний кассовый аппарат. Во всяком случае, именно Кит подал идею канатной дороги и пневматических труб, по которым мы и наши послания *могли бы* перемещаться, когда мы осуществим свои замыслы.

Кит же выяснил, что в «Тревиннике» — таинственном доме по соседству с его собственным, где светомаскировочные шторы не раздвигаются никогда, — обитают ливреи, злокозненная организация, наверняка замешанная во всех мыслимых заговорах и жульнических операциях. Именно Кит воскресным вечером обнаружил в железнодорожной насыпи позади домов тайный ход, которым пользовались ливреи. Или через одну-две минуты обнаружил бы непременно, если бы отец не приказал ему явиться вовремя домой, чтобы к завтрашнему дню вычистить свои белые крикетные туфли — утром ведь в школу.

Итак, Кит и Стивен стоят в прихожей; вокруг темнеют дубовые панели, поблескивает начищенное серебро, нежно перезваниваются часы. Мальчики решают, чем сегодня заняться. Вернее, Стивен ждет решения Кита. Возможно, отец уже дал Киту какое-то хозяйственное поручение, и

Стивену разрешат помочь другу. Отладить, к примеру, велосипед или подмести в мастерской пол вокруг отцовского верстака. За велосипедом приходится особенно много ухаживать, потому что Кит ежедневно ездит на нем в школу, это новейшая спортивная модель, механизм нужно смазывать специальным маслом, а потом специальными средствами полировать зеленую раму и начищать до ослепительного блеска все хромированные детали — руль, ободы колес и зведочки трехступенчатой передачи. Совершенно ясно, что до школы следует добираться только на велосипеде, а не как Стивен, который ежедневно ездит туда на автобусе, дожидаясь его на растрескавшейся бетонированной остановке. Для велосипеда зеленый цвет очень подходит, зато для пояса и автобуса не годится совершенно.

Возможно, они пойдут наверх и уединятся в детской. В ней, как и во всех прочих комнатах, царит безупречный порядок. В отличие от Стивена и других соседских детей, у Кита нет бестолковых братьев или сестер, которые только путаются под ногами и устраивают кавардак. Все игрушки тут принадлежат только Киту, они аккуратно разложены по ящикам и шкафам, часто в тех же коробках, в которых прибыли из

магазина. От работающих как часы заводных гоночных машин и быстроходных катеров чудесно пахнет машинным маслом высшей пробы. Здесь есть аккуратно собранные из конструкторов замысловатые технические сооружения с храповиками и многозвенными зубчатыми и червячными передачами; есть маленькие, но абсолютно точные копии самолетов «Спитфайер» и «Харрикейн», собранные из игрушечных авиаконструкторов, с целлулоидными кабинками пилотов и шасси, которое убирается в фюзеляж, окрашенный восхитительной сизовато-бурой краской. В отдельных ящиках лежат игрушки на батарейках: фонарики, которые светят тремя разными цветами, маленькие оптические инструменты, передающие свет с помощью линз и призм; все в идеальном рабочем состоянии. Есть целая полка книг специально для мальчиков: про жизнь на необитаемых островах, про миссионеров, которых доставляют в дебри на бипланах, и про случайно обнаруженные тайные ходы. На другой полке стоят книги про то, как из пустых сигарных коробок построить супергетеродинный радиоприемник, а яйцо превратить в шелковый носовой платок.

Если погода хорошая, а отец Кита еще не стриг

траву на лужайке, мальчики могут поиграть в саду. Там они строят длиннейшую железную дорогу; начинается она в низине, у цветочных клумб, что разбиты позади мастерской, и оттуда поднимается к высокогорным перевалам на крыше бомбоубежища; состав пойдет по изящным мостам, висящим над ущельями, такими глубокими, что захватывает дух, потом через полную опасностей территорию, где хозяйничают банды разбойников (это огород), вниз, к важному промышленному центру и, наконец, в железнодорожный тупик позади огуречного парника. Или *будут* строить такую дорогу, как только Кит получит от отца разрешение прокладывать пути там, где нужно Киту.

А то, может, прогуляются к площадке для игры в гольф — там, в зарослях можжевельника, Кит заметил странного дикого зверька, что-то вроде говорящей обезьянки; или к небольшой ферме в «Раю», где Кит однажды видел сбитый немецкий самолет с мертвым летчиком в кабине. По дороге друзья прикидывают, как построить пилотируемый планер, который можно будет запускать с крыши дома, или как собрать настоящий автомобиль с настоящим рулем. И планер, и машину Кит, разумеется, уже спроектировал; но в со-

здании машины Стивен тоже принимает самое непосредственное участие, поскольку приводить ее в движение должны десятки старых заводных моторчиков, снятых конечно же не с заповедных игрушек Кита, а с раскуроченных останков, грудами сваленных в шкафчике у Стивена.

Много чего им надо построить, множество тайн раскрыть. Есть, правда, еще один вариант времяпрепровождения, но настолько бредовый, что он даже никогда не обсуждается: пойти играть домой к Стивену. Какой в этом смысл? Ведь *там* по унылому, заросшему сорняками, словно саванна, огороду не проложена великая межконтинентальная железная дорога, и Стивену сроду не приходило в голову привести кого-нибудь, тем более Кита, в комнату, где они с Джеффом не только играют, но еще и спят, и уроки делают. Уже оттого, что в их детской стоят две кровати, звать туда никого не хочется. У Кита спальня и детская — две отдельные комнаты. А уж что творится на кровати Стивена и вокруг — вспомнить страшно. Сплошная мешанина из бечевок, пластилина, электрического шнура, непарных носков и пыли, там же валяются старые картонные коробки с рассыпающимися в прах бабочками и разбитыми птичьими яйцами — реликты прежних, давно

заброшенных затей. Я пытаюсь представить себе невероятное событие: Кит спрашивает мать, можно ли ему пойти поиграть к Стивену… И меня разбирает смех. Воображаю: в гостиной, откинувшись на спинку дивана, сидит мать Кита; услышав вопрос сына, она отрывается от библиотечной книги, и безупречные дуги ее выщипанных бровей взлетают вверх на целый дюйм. Что она сейчас скажет?

Вообще-то я точно знаю, что она скажет: «Помоему, об этом лучше спросить папу». А что сказал бы папа, если бы Кит, набравшись храбрости, попытался обосновать свою нелепую просьбу? Может, на этот раз, изумленный столь дерзким предложением, он даже обернулся бы и взглянул на Стивена? Нет, конечно же нет. И отвечать на вопрос он бы тоже не стал. Процедил бы что-нибудь вроде: «А ты, дружище, уже смазал крикетную биту?» И все. Потом они пошли бы вместе на кухню, попросили у миссис Элмзли газету и, расстелив ее на полу, принялись бы смазывать биту.

Теперь, вспоминая прошлое, я удивляюсь тому, что родители Кита вообще позволяли сыну строить подземные тоннели и канатные дороги к дому Стивена, искать с новоявленным другом

птичьи гнезда и охотиться на обезьян, разрешали приглашать его играть целехонькими и ухоженными игрушками сына и вместе с Китом чистить его великолепный спортивный велосипед. Вполне возможно, его отец просто-напросто не заметил существования Стивена, зато мать заметила точно. Правда, напрямую она с ним не разговаривала, но иногда обращалась сразу к обоим со словами «вы, мальчики» или «друзья мои».

— Не налить ли вам, мальчики, по стакану молока? — глядя на Кита, порой спрашивала она около полудня.

Или же командовала:

— Ну-ка, друзья мои, заканчивайте и собирайте игрушки.

Время от времени она поручала Киту обратиться к Стивену от ее имени:

— Солнышко, не пора ли Стивену делать уроки?.. Кит, золотко, может, ты пригласишь Стивена попить с нами чаю?

Говорила она негромко, едва заметно шевеля губами, с улыбкой бесстрастного удивления от того, что происходит в окружающем ее мире. Большую часть дня проводила на диване или у себя в спальне и всегда выглядела отдохнувшей и свежей. Свежая, спокойная и невозмутимая, она

появлялась в дверях детской и объявляла, что идет к тете Ди или за покупками.

— Надеюсь, друзья мои, вы без меня тут ничего не натворите. Вам ведь есть чем заняться.

Если она шла не в магазин и не к тете Ди, то наверняка на почту.

Иногда Стивену казалось, что она отправляет письма по нескольку раз в день.

В отличие от нее, отец Кита целыми днями работал. Но не в какой-то никому не ведомой конторе — как отец Стивена и все другие отцы, кроме тех, что были на фронте, — а в саду, в огороде и в доме. Он без конца что-то вскапывал, удобрял, подстригал и подрезал, вечно что-то грунтовал и красил, прокладывал или менял проводку, доводя и без того безукоризненно сделанное до полного совершенства. Даже куры вели на задах огорода безупречно элегантный образ жизни. Они кичливо расхаживали по своим просторным угодьям, отделенным от прочего мира вертикальным забором из блестящей проволочной сетки; время от времени они удалялись в курятник, где привычные запахи корма и помета благопристойно мешались с запахами свежего креозота, шедшего снаружи, и свежей побелки внутри; там они и несли чистенькие коричневые яйца.

Но центром деятельности мистера Хейуарда был гараж. Двойная дверь спереди не открывалась никогда, но сбоку — точно напротив кухни, стоило только пройти через двор, — имелась небольшая дверка. Время от времени Кит открывал ее, чтобы попросить у отца разрешения походить по лужайке или проложить рельсы по садовым дорожкам, и Стивен успевал из-за спины друга одним глазком увидеть чудеса, скрытые в этом недоступном для посторонних царстве. Как правило, отец Кита стоял у верстака и сосредоточенно трудился над зажатым в большие тиски куском дерева или металла. Шлифовал, пилил или строгал; вострил на точильном круге свои многочисленные разнокалиберные стамески; искал в сотне аккуратных открытых и закрытых ящиков над верстаком и возле него наждачную бумагу определенной зернистости или шуруп нужного размера. В воздухе висел специфический запах. Чем же пахло? Опилками, конечно, и машинным маслом. Возможно, подметенным бетонным полом. И автомобилем.

Автомобиль был еще одним образцом совершенства. Маленькая семейная машина с закрытым кузовом и множеством хромированных деталей, поблескивавших в сумраке гаража.

На кузове ни пятнышка, двигатель в отличном состоянии и полной готовности к окончанию войны, когда в продаже снова появится бензин. Иногда виднелись одни только ноги Китова отца. Освещенные фонарем, они торчали из-под машины, а он тем временем методично вел осмотр всех узлов и агрегатов и менял масло. У машины не хватало только колес. Она недвижимо стояла на четырех тщательно обструганных деревянных чурках — для того, объяснял Кит, чтобы ее не могли реквизировать немцы, если оккупируют Англию. Колеса были аккуратно подвешены на стене; рядом висели теннисные ракетки в деревянных прессах, корзина для пикников, спущенные надувные матрацы, резиновые круги и прочие принадлежности позабытого праздного существования, прерванного, как и многое другое, на время Войны. С Войной приходилось считаться всем, она затрагивала жизнь каждого.

Как-то раз, набравшись храбрости, Стивен потихоньку поинтересовался у Кита, что будет, если немцы, известные своим злокозненным хитроумием, снимут колеса со стены и поставят на машину. Так ведь колесные гайки убраны в потайной ящичек у отцовской кровати, объяснил ему Кит, причем вместе с револьвером; это

оружие отец получил еще в те времена, когда офицером участвовал в Мировой войне; и если враги все же вторгнутся в Англию, то в спальне мистера Хейуарда их ждет пренеприятный сюрприз.

Тем временем отец Кита работал не покладая рук и при этом непрерывно свистел. Красиво и легко, словно певчая птица, выводил невероятно сложную, изощренную мелодию, которая вилась без передышки, как и его работа. У него редко находилось время для разговора. А если он и улучал минутку, то говорил быстро, сухо, нетерпеливо.

— Дверь… Краска… свежая, — отрывисто предупреждал он мать Кита.

В хорошем расположении духа он называл сына «дружище». Иногда говорил «приятель», и тогда в его голосе звучали повелительные нотки:

— Велосипед в сарай, приятель!

Изредка его губы растягивались, обнажая зубы — надо понимать, в улыбке, — и тогда он называл Кита «голубчик».

— Если этот твой самолетик коснется теплицы, — улыбаясь, говорил он, — я тебе, голубчик, всыплю.

Судя по всему, Кит в этом не сомневался. Стивен тоже. В прихожей, в стойке для зонтов и палок торчало наготове немало тростей. К Стивену отец

Кита не обращался никогда, он ни разу толком не взглянул на него. Даже если угроза теплице исходила от Стивена, «голубчиком» именовался только Кит, и Кита же ждала выволочка, потому что Стивена попросту не существовало на свете. Стивен, впрочем, тоже никогда не разговаривал с отцом Кита и ни разу не взглянул ему прямо в лицо, даже если тот в эту минуту и не улыбался; скорее всего, Стивен просто трусил; а с другой стороны, если тебя не существует, то разве ты можешь на кого-то смотреть?

Но отец Кита внушал почтение и по ряду других причин. В Мировую войну его наградили медалью — по рассказам Кита, за то, что он убил пять немцев. Заколол их штыком. Спросить у друга, как именно его отец сумел примкнуть штык к уже описанному револьверу, у Стивена не хватало духу. Штык, однако, вовсе не был выдумкой: по субботам, угрожающе подпрыгивая, он болтался на обтянутом защитными брюками заду Китова отца, когда тот в форме бойца местной обороны уходил из дому. На самом деле, объяснял Кит, отец идет вовсе даже не в отряд местной обороны, а на особое секретное задание контрразведки.

Хейуарды были людьми во всех отношениях безупречными. И при этом терпели общество

Стивена! По всей вероятности, из всего Тупика только ему одному посчастливилось ступить за порог их дома или хотя бы в сад. Я напрягаю воображение: вот Норман Стотт неуклюже топает по комнате Кита… или Барбару Беррилл приглашают пить чай… Но нет, моей фантазии это не под силу. Не могу себе представить, чтобы даже такие приличные, уравновешенные дети, как сестренки Джйст или бледные музыканты из дома номер один, благопристойно играли в пятнашки среди розовых кустов Хейуардов. Собственно говоря, никого из взрослых я там тоже не представляю. Все же мысленно рисую картину: вот я стою за спиной у Кита, который легонько стучит в дверь гостиной…

— Войдите, — почти не повышая голоса, откликается его мать.

Кит открывает дверь; в гостиной вместе с его матерью благовоспитанно пьет чай — кто? Уж конечно не миссис Стотт или миссис Шелдон. И не моя мать (вот это был бы номер!). И не миссис Стибрин…

Никто. Даже не миссис Хардимент или миссис Макафи.

Впрочем, столь же немыслимо представить себе мать Кита в любом другом доме нашего

Тупика.

Кроме дома тети Ди.

Тетя Ди была еще одним удивительным украшением семейства Хейуард.

Она жила через три дома, на той же стороне улицы, почти напротив семьи Стивена, в двухэтажном особнячке с обшитым шоколадно-коричневыми досками верхом и цветущими миндальными деревьями в палисаднике. Моя мама и соседи звали ее исключительно миссис Трейси. Мать Кита была высокая; тетя Ди — низенькая. Мать Кита двигалась неторопливо, с безмятежной улыбкой; тетя Ди вечно куда-то спешила и улыбалась отнюдь не безмятежно, демонстрируя белые зубки и неуемную веселость. Мать Кита то и дело ходила за покупками для тети Ди и для своей семьи, потому что тетя Ди не могла ни на минуту оставить малышку Милли без присмотра; в другое время мать Кита частенько забегала к ним посидеть с Милли и отпустить тетю Ди из дому.

Порой мать Кита отправляла вместо себя сына — отнести тете Ди два-три свеженьких яичка из образцового курятника на задах огорода или завернутый в газету большой пучок только что срезанной ранней зелени, — и тогда Стивен увя-

зывался за другом. Сияя беспечной улыбкой, тетя Ди открывала дверь и обращалась не только к Киту, но явно и откровенно к нам обоим, словно я для нее был существом не менее реальным, чем племянник:

— Здравствуй, Кит! Да ты никак подстригся! Очень красиво! Здравствуй, Стивен! Твоя мама говорила, что у вас с Джеффом был жуткий насморк. Уже выздоровели?.. Я очень рада! Сядьте, поиграйте минутку с Милли, а я пойду погляжу, не найдется ли вам по кусочку кекса.

И мы с Китом в полном замешательстве сидели среди разбросанных по гостиной детских игрушек, неодобрительно поглядывая на Милли, которая тащила нам кукол, книжки с картинками и, улыбаясь ясной доверчивой улыбкой — в точности как мать, — пыталась вскарабкаться кому-нибудь из нас на колени. Беспорядок здесь царил чуть ли не больший, чем в жилище Стивена. Расположенный позади дома сад, в который вели стеклянные двустворчатые двери, был запущен еще хуже нашего. На давным-давно не стриженной лужайке трава вымахала такая, что в ней почти скрылись крокетные ворота, ржавевшие там уже несколько лет. В доме тети Ди на лице у Кита неизменно появлялась отцовская

гримаса порицания: веки приспущены, губы собраны в трубочку, будто он вот-вот засвистит. Впрочем, мне было ясно, что эта мина возникает у него вовсе не в результате размышлений о том, в какой мере тетя Ди является образцовой тетушкой. Тетушкам ведь положено быть гостеприимными, веселыми и неряшливыми. У них непременно должны быть маленькие дети, которые улыбаются и карабкаются вам на колени. А что до неодобрения, написанного у Кита на лице, то воспитанному племяннику именно с таким выражением и положено пребывать в теткином доме, лишний раз подтверждая незыблемую благопристойность собственной семьи.

К тому же у тети Ди была уважительная причина для беспорядка. И саму тетю, и даже кавардак в ее доме окружало своего рода божественное сияние — как у святого на иконе: их осеняла слава дяди Питера.

На каминной полке стояло фото в серебряной рамочке: дядя Питер улыбается такой же бесшабашной открытой улыбкой, как тетя Ди, фуражка офицера Королевских военно-воздушных сил лихо заломлена, под стать бесшабашной улыбке. У сестер Беррилл отец тоже ушел на войну, у супругов Макафи сын служил где-то на Дальнем

Востоке. Но ни у кого не было родственника, который мог бы сравниться с дядей Питером. Он водил бомбардировщик, летал в Германию с особыми заданиями, настолько опасными и секретными, что Кит говорил о них только намеками. Вокруг фотографии стояли кубки, которые дядя Питер завоевал в разных видах спорта. На полках выстроились томики приключенческих романов, которые он хранил с детских лет, и Киту иногда разрешали взять книжку-другую. Даже само отсутствие дяди Питера оборачивалось присутствием, пусть и совсем иного свойства. О нем говорила маленькая серебряная брошка, которую тетя Кита постоянно носила на груди: три знаменитые буквы на синей эмали, под ними распростерты прославленные «крылышки», а над ними — всем известная корона. В мужественной веселости тети Ди ощущалось веселое мужество дяди Питера, а в неухоженном доме и запущенном саде — его беспечное пренебрежение опасностью.

К тете Ди заходила только мать Кита, его отец там не появлялся никогда. И тетя Ди никогда не забегала в дом Кита. Всего раз в жизни я увидел прогулочную коляску Милли у входной двери Хейуардов, но это было гораздо позже, и я сразу

понял, что случилось что-то скверное.

В ту пору этот перекос в отношениях двух семей вовсе не казался мне странным. Образ жизни Хейуардов и уклад Святого семейства равно не подлежали ни обсуждению, ни рациональному анализу. Не исключено, что тетя Ди, даже при том, что у нее был дядя Питер, все-таки не вполне соответствовала высоким требованиям Бога Отца.

В доме Кита всегда привечали одного-единственного гостя: лопоухого Стивена с вечно полуоткрытым ртом и в нечищеных теннисных тапках.

Неужели Стивен не любил своей собственной семьи? Неужели мальчиком он не смог оценить те качества, которые обнаружил у ближайших родственников гораздо позже, и по мере взросления это обстоятельство оказывало на него все более глубокое воздействие?

Навряд ли он вообще задумывался о том, любит он родителей и брата или нет. Они — его семья, вот и весь сказ, о чем тут еще разговаривать? Полагаю, он все же ценил кое-какие их качества, но подсознательно чувствовал, что потрясающая разница между местом, которое занимает в мире Кит, и тем, что отведено ему, Стивену,

целиком обусловлена заведомой ущербностью его собственного положения. Киту невероятно повезло: судьба, без всяких усилий с его стороны, не обременила его наличием брата. Но разве такая удачливость восхищала бы Стивена, если бы ему самому не приходилось постоянно терпеть присутствие Джеффа и без конца выслушивать его свежеизобретенные богохульства («клянусь Боженькой на небеси», «да Иисус бы прослезился») и чертыханья (братец все подряд обзывал дьявольской нудятиной)? Разве бросились бы ему в глаза изящество и безмятежность матери Кита, если бы его собственная мать не ходила с утра до вечера в линялом фартуке, то и дело беспокойно вздыхая; всякому было ясно, чем занята у нее голова: отчего опять бранится Джефф, куда запропал Стивен и как покончить с кавардаком в их вечно не убранной комнате? И даже дядя Питер — разве казался бы он таким уж образцовым дядей, если бы самому Стивену не приходилось довольствоваться стайкой заурядных теток в цветастых платьях?

Отцы мальчиков являли собой особенно яркий контраст. Папу Стивена домочадцы почти не видели. Целыми днями, а иногда и вечерами он пропадал в конторе, занимавшейся надзором за

качеством строительных материалов, — работа, видимо, до того скучная, что и рассказать о ней было нечего.

Однажды отец на год уехал по делам на север, и про его командировку никто ни разу даже не обмолвился, да и само его отсутствие не бросалось в глаза. Бывая дома, он никогда не насвистывал, нагоняя на окружающих страх, не называл Стивена «голубчиком» и не грозил ему всыпать. Он вообще говорил очень мало и частенько напоминал кроткого пушистого зверька. Разложив на обеденном столе бумаги и папки, он часами разглядывал их сквозь съехавшие на кончик носа очки или же, рухнув в одно из обшарпанных кресел в гостиной, сквозь дрему слушал по радио какие-то нудные концерты, от которых прочих членов семьи просто мутило. При этом он обычно ослаблял галстук, и тогда из распахнутого ворота рубашки выбивались клочья спутанных темных волос. Затем голова его падала на грудь, являя миру многочисленные пучки таких же спутанных волос, неравномерно разбросанные по бесплодной поверхности его темени. Даже на тыльной стороне его рук росли жесткие темные волоски, и на голени между манжетами брюк и спустившимися носками тоже. Внешность у отца

была такая же незавидная, как и у Стивена.

Если же папа не спал, то время от времени вежливо интересовался у Стивена и Джеффа, чем они тут без него занимались. Говорил медленно и четко, будто опасался, что сыновья его не поймут. А когда они, в конце концов, выводили его из себя, следовало самое страшное наказание, какое только мог придумать отец: он размахивался, чтобы разом влепить по затылку обоим сыновьям, но они без труда уворачивались. Обыкновенно гнев его бывал вызван кавардаком в их комнате, который он иногда называл *«кудл-мудл»*. Это чисто отцовское выражение смущало сыновей: никто больше в Тупике никогда его не произносил. Когда же Стивен начинал препираться, доказывая, что если не убирать комнату, то остается время на дела поважнее, вроде домашних заданий, отец изредка отпускал еще более диковинное словцо: *«шник-шнак»*. Однажды, наверное, в первый и единственный раз не поверив тому, что рассказал ему Кит, Стивен обронил это словцо.

— Ты знаешь ведь маленькую дочку тети Ди? — спросил Кит. — Так ее вырастили из семечка.

— Шник-шнак, — неуверенно произнес Стивен и по выражению лица Кита понял, что снова сморозил глупость.

А еще я помню, как Стивен сообщил отцу, что в «Тревинник» вселяются ливреи. Отец долго и задумчиво смотрел на сына.

— Правда-правда, — заверил Стивен. — Кит сказал.

— Ах, Кит! — засмеялся отец. — В таком случае, какие могут быть вопросы! Шник-шнак.

Конечно же Стивен любил свою родню, потому что близких любить принято, это дело обыкновенное, да и все в его семье, включая и кудл-мудл, было — во всяком случае, казалось Стивену — самым что ни на есть обыкновенным. Но больше всего ему нравилось бывать в доме Кита. А там ему больше всего нравилось, когда его приглашали пить чай.

Ах, что это были за чаепития! Во рту сразу возникает вкус шоколадной пасты, намазанной на толстый кусок хлеба. Под кончиками пальцев я и сейчас явственно чувствую ромбики, выгравированные на поверхности стаканов, наполненных ячменным отваром с лимоном. Вижу, как поблескивает темный обеденный стол; нам с Китом разрешается сидеть в столовой одним, вынимать из костяных колец салфетки, развертывать их и наливать себе отвару из кувшина, покрытого кружевной салфеткой с четырьмя синими бу-

синами.

На каминной полке между серебряными подсвечниками стоит поставленная на попа серебряная пепельница с надписью: «УВКЛТ. Смешанная парная игра (взрослые). Второе место — У. П. Хейуард и Р. Д. Уитман. 27 июля 1929 г.». Кит давным-давно разъяснил мне, что У. П. Хейуард и Р. Д. Уитман — это его родители, тогда еще не поженившиеся, а «УВКЛТ» означает Уимблдонский всемирный клуб лаун-тенниса. Родители Кита наверняка стали бы чемпионами мира, если бы их каким-то хитрым образом не обжулила другая пара, входившая в ту самую злокозненную организацию, которая теперь обосновалась в «Тревиннике». На серванте, между двумя хрустальными графинами, стоит фотография дяди Питера, тоже в серебряной рамке. Но здесь, в доме Китовых родителей, он улыбается более сдержанно, и фуражка у него не сдвинута набок. Отчетливо видно и орла, и корону, и рельефно вышитые лавровые листья над козырьком, и «крылышки» над левым нагрудным карманом.

И вот однажды на склоне дня, когда Стивен уже попил чаю, Кит негромко стучит в дверь гостиной и подводит друга к матери, чтобы тот произнес прощальную речь. Возле дивана на специальном

столике стоит чайный поднос хозяйки дома; на подносе — серебряный чайник, серебряный молочник и маленькая серебряная коробочка с крупинками сахарина. Мать Кита полулежит на диване, поджав под себя ноги, и читает очередную библиотечную книгу. А может быть, сидит за письменным столом в дальнем углу гостиной и пишет письма, которые потом пачками носит на почту; из стоящих на столе серебряных рамок за ней наблюдают еще с полдюжины близких родственников. В этом священном месте Стивен не решается откровенно разглядывать что бы то ни было. Мать Кита поднимает голову от книги и улыбается.

— А, так Стивен уже уходит домой? — обращается она к Киту. — Непременно пригласи его опять.

Стивен делает шаг вперед и произносит свою речь.

— Спасибо за компанию, — едва слышно бормочет он.

— Главное, чтобы вам было весело вместе, — говорит мать Кита.

Навряд ли произносимые им слова имели тогда для Стивена какой-то смысл, а потому позвольте мне сейчас повторить их от его имени снова, прежде чем произойдет все то, чему предстоит

произойти. Повторить с искренней благодарностью, изумляясь выпавшей мне удаче; чувство это с годами стало только острее. Благодарен я не только матери Кита, но и самому Киту, и всем прочим, чьим ассистентом, слушателем и зрителем я позже становился, а также остальным авторам и участникам реальной драматической истории, в которой я играл маленькую, часто страшную, но неизменно увлекательную роль. — Спасибо за компанию. Большое, большое спасибо.

И все-таки, откуда шел тот странный, смущавший меня запах?

Конечно, не от ухоженных штамбовых роз перед домом Хейуардов и не из нашего палисадника, заросшего бог знает чем. Совсем не так пахли цветущие липы у Хардиментов, будлея у Стоттов и у Макафи или жимолость у мистера Горта и у Джистов.

Пытаясь определить источник запаха, я медленно бреду по улице обратно и гляжу на дома, расположенные напротив Хейуардов. Из дома номер шесть, где жили Берриллы, этот запах исходить не мог, там было настоящее проволочное заграждение из буйно разросшегося дикого шиповника… В доме номер пять жили Джисты… А дальше — опять же Стибрины, дом номер три.

Значит, остается только номер четыре, между Джистами и Стибринами.

Я останавливаюсь и внимательно разглядываю его. На кованых воротах висит простая, без финтифлюшек табличка с названием: «Медоухерст»; за воротами не видно никакой особой растительности, только четыре аккуратные кадки с геранями да три автомашины на мощенной плитами площадке. Дом мне совершенно незнаком. Всем своим обликом он неуловимо отличается от соседних домов Тупика, это явно более поздняя постройка. Да, вот оно, то самое место — наша Аркадия, наша Атлантида, наш райский сад, ничейная территория, оставшаяся от дома мисс Даррант, что сгорел дотла, когда в него попала немецкая зажигательная бомба.

В ту пору он назывался «Бреймар». Когда Стивен и другие жившие в Тупике ребятишки облюбовали его для игр, заросли ежевики, иван-чая и шиповника уже почти скрыли безотрадное зрелище: небольшую кучу щебня, покрывавшую фундамент дома, в котором жила и погибла мисс Даррант. Подобно девочкам Беррилл, сад совершенно одичал; высокая живая изгородь, аккуратнейшим образом, словно по линеечке, подстригавшаяся хозяйкой и свято хранившая

от посторонних глаз ее личную жизнь, потеряла теперь всякую форму; заросли подлеска совсем заслонили вход в этот таинственный, недоступный для непосвященных мир.

Стивен много времени проводил в гуще невзрачных темно-зеленых кустов, которые выросли на месте живой изгороди. Впрочем, едва ли он их замечал. Во всяком случае, до второй половины июня того года, когда они разом расцвели и он задыхался от их вульгарного запаха, который будет преследовать его долгие годы.

Я не свожу глаз с трех автомашин и четырех кадок с геранями. От тех кустов не осталось и следа. Вспоминая их, я невольно смеюсь над собой — настолько это растение заурядно; многие относятся к нему пренебрежительно, с насмешкой, а у меня оно связано с попытками подавить или замаскировать бурю чувств, которая снова разбушевалась во мне. Позвольте наконец назвать его прямо и откровенно.

Вот он, источник моего душевного смятения: баз, или самая обыкновенная черная бузина.

А началась эта история там, где зарождались в большинстве своем все наши затеи и приключения, — в доме Кита. Точнее сказать, за чайным столом; я прямо-таки слышу, как тихонько звяка-

ют четыре синие бусины на кружевной салфетке, стукаясь о высокий кувшин с лимонно-ячменной водой…

Нет, постойте. Тут у меня вкралась неточность. Стеклянные бусины позвякивают, стукаясь о стеклянный кувшин, потому что салфетку теребит ветерок. Утро в разгаре, мы с Китом в саду, возле вольера для кур строим межконтинентальную железную дорогу.

Да, верно, потому что я слышу и другие звуки — шум электричек, идущих по взаправдашной железной дороге, когда из выемки они въезжают на насыпь, что высится за проволочным ограждением прямо над нашими головами. Вижу снопы искр, летящие от контактного рельса. Кувшин ячменного отвара с лимоном — это вовсе не чай, это легкий перекус в одиннадцать часов: на подносе, который мать Кита вынесла из дома и поставила на красную кирпичную дорожку, каждого из нас дожидаются два печеньица. И вот, когда она удаляется по красной дорожке прочь, Кит спокойно, без лишнего шума сообщает мне свою сногсшибательную новость.

Когда же это происходит? Ярко светит солнце, звякают о кувшин бусины, однако мне сдается, что на земляной насыпи для межконтинентальной

ной железной дороги кое-где еще видны опавшие лепестки яблоневого цвета, а мать Кита с беспокойством спрашивает, не холодно ли нам.

— Если станете зябнуть, мальчики, непременно идите в дом, хорошо?

Наверное, еще май. Почему же мы тогда не в школе? Может быть, это суббота или воскресенье. Нет, по всему чувствуется, что день будний, самое его начало; в этом я убежден, хотя не могу сказать наверняка, какое стоит время года. Что-то тут не вяжется; так бывает, когда из кучи деталей пытаешься собрать целое.

А может, у меня все выстроилось задом наперед? Когда там появился полицейский, раньше этого дня или позже?

До чего же трудно припомнить точно, что за чем случилось, но иначе нельзя определить причины и связь между событиями. Когда я прилежно ворошу свою память, то результат моих усилий ничуть не похож на последовательное изложение — скорее на россыпь ярких мелочей. Кем-то произнесенные слова, увиденные краем глаза предметы. Чьи-то жесты, выражения лиц. Настроение, погода в разные запомнившиеся дни; определенное время суток и соответствующее освещение. Отдельные моменты, которые,

по-видимому, очень много значат, однако, пока не вскроется потаенная связь между ними, они почти лишены смысла.

На каком этапе в эту историю затесался полицейский? Мы провожаем его взглядами, пока он медленно катит на велосипеде по Тупику, подтверждая наши подозрения и одновременно сводя на нет все усилия: конечно, он едет арестовывать мать Кита… Нет, нет, то было раньше. Счастливые, не ведая ни о чем, мы бежим рядом с полицейским и не ждем от него ничего, кроме невесть откуда ниспосланного скромного развлечения. А он едет себе и едет, внимательно поглядывая на каждый дом, доезжает до кругового разворота в конце Тупика, катит обратно… и слезает с велосипеда перед домом номер двенадцать. Мы мчимся к матери Кита и сообщаем, что к тете Ди пошел полицейский. Я отчетливо помню выражение, с каким она слушает нас: на миг самообладание ей изменяет, она выглядит нездоровой и испуганной. Распахнув входную дверь, не идет, а бежит по улице…

Теперь-то я, естественно, понимаю, что тогда и она, и тетя Ди, и миссис Беррилл, и семейство Макафи жили в постоянном страхе и особенно боялись прихода полицейского или разносчика

телеграмм — как все, у кого кто-то из близких был на фронте. Сейчас я уж не помню, в чем тогда было дело. Речь, во всяком случае, шла вовсе не о дяде Питере. Думаю, полицейский явился по жалобе соседей на плохую светомаскировку у тети Ди. Она всегда довольно небрежно зашторивала окна.

Я снова вижу, как на мгновение мать Кита меняется в лице, и на сей раз замечаю кое-что еще, кроме страха. Выражение, напоминающее то, которое появлялось на лице Кита, когда его отец уличал сына в халатном выполнении своих обязанностей по отношеню к велосипеду или крикетному снаряжению — подспудное сознание вины, что ли. А может, сейчас, задним числом, полустершиеся в моей памяти события переписываются заново?

Если полицейский и выражение на лице матери Кита появились *раньше*, не в этой ли связи у Кита возникла некая еще не осознанная мысль?

Но теперь мне кажется, что те слова, скорее всего, вырвались у него беспричинно, в тот самый миг, когда он их произносил, — случайный всплеск чистейшей фантазии. Или чистейшей интуиции. Или, как часто бывает, и того и другого.

Однако же эти четыре шальных, выпаленных наобум слова и повлекли за собой все последующие события — их вызвала к жизни фраза Кита и мое восприятие ее. Все перипетии нашего дальнейшего бытия определились в этот краткий миг, когда звякали, стукаясь о кувшин, бусины, а мать Кита, прямая, спокойная и недосягаемая, удалялась от нас в ярком утреннем свете, ступая по последним белым лепесткам, опавшим на краснокирпичную дорожку; Кит провожал ее затуманенным взглядом. Я хорошо помню тот взгляд, с него часто начинались наши многочисленные затеи. И вдруг он задумчиво, чуть печально произнес:

— Моя мать — немецкая шпионка.

3

Итак, она — немецкая шпионка.

Как же я реагирую на эту новость? Высказываю какие-то свои соображения?

По-моему, вообще не говорю ни слова. Просто, как водится, смотрю открыв рот на Кита и жду продолжения. Удивился ли я? Разумеется, удивился, но, с другой стороны, меня частенько удивляли заявления Кита. Помню, как я был поражен, впервые услышав от него, что мистер Горт, одиноко обитавший в доме номер одиннадцать, — убийца. И что же? Мы начали расследование и, покопавшись на пустыре за его садом, обнаружили кости нескольких его жертв.

Словом, я, конечно, удивлен, но не так сильно, как удивился бы сегодня. И, само собой, сразу прихожу в большое волнение, потому что предвижу массу новых интересных приключений: наверно, мы будем прятаться, устраивать в сумерки слежку, посылать друг другу донесения, написанные невидимыми чернилами, наклеивать себе усы и бороды из Китова комплекта для изменения внешности и разглядывать всякую всячину в

Китов микроскоп.

Кажется, я чувствую мгновенный укол зависти, смешанной с восхищением: другу снова, как всегда, повезло! Мало того, что отец работает в контрразведке, так еще и мать — немецкая шпионка! У остальных-то ребят нашего Тупика не наскребется и одного родителя, который вызывал бы к себе хоть малейший интерес.

Приходит ли мне в голову спросить: а отец Кита в курсе того, чем занимается его жена? И знает ли мать Кита, чем занимается ее муж? Приходит ли мне в голову поразмыслить над щекотливой ситуацией, сложившейся в доме Хейуардов из-за полной противоположности служебных обязанностей супругов? Видимо, не приходит. Оба они, очевидно, научились искусно скрывать от окружающих свою истинную сущность, а друг от друга — свои секреты. Во всяком случае, загадочные отношения между взрослыми пока что не вызывают у меня любопытства.

Правда, мне немножко жаль, что все так повернулось. Я вспоминаю, сколько выпито у Хейуардов ячменного отвара с лимоном, сколько съедено шоколадной пасты, вспоминаю снисходительность Китовой матери, всевозможные проявления благорасположенности и выдержки.

Хотя я очень рад, что мы займемся слежкой за немецкой шпионкой, я обрадовался бы куда больше, если бы агентом оказалась миссис Шелдон или миссис Стотт. Или даже отец Кита. Я готов был поверить, что его отец — немец. И поверил бы, не работай он в контрразведке и не знай я, какие незаурядные усилия приложил он в Мировую войну, чтобы сократить население Германии.

Однако, поразмыслив, я прихожу к выводу: оно и к лучшему, что шпион — не отец Кита. Ведь тогда пришлось бы следить за *ним*, а такое даже и вообразить страшно. Я почти вижу, как раздвигаются в сдержанной ухмылке его губы:

— И кто же тебе, голубчик, разрешил копаться в моем секретном передатчике?..

Задаю ли я Киту сам собой напрашивающийся вопрос: откуда он знает, что она шпионка? Конечно, нет; с тем же успехом я мог бы спросить, откуда ему известно, что она его мать или что его отец ему папа. Мать она ему, и точка; это само собой разумеется, точно так же, как многое другое, например, что миссис Шелдон — это миссис Шелдон и что Барбара Беррилл не заслуживает нашего внимания, а у моей родни есть некая чуточку стыдная особенность. Всем известно, что дело обстоит именно так. И нет нужды что-то

растолковывать или оправдывать.

Собственно говоря, в последующие несколько дней я привыкаю к этой мысли, причем многое сразу проясняется. Например, зачем мать Кита пишет столько писем. Кому? Кроме меня, Хейуарды знакомы всего с двумя людьми: тетей Ди и дядей Питером. Полагаю, где-нибудь еще у них могут быть и другие тетушки и дядюшки. Но ведь матери пишут родне письма не ежедневно, а один, ну два раза в год! Совершенно незачем бегать дважды в день на почту, стараясь не опоздать к очередной отправке писем! А вот если ей надо посылать донесения немцам… Какие донесения? За чем это она шпионит, беспрерывно шастая по магазинам? Может, собирает сведения о местной противовоздушной обороне, наблюдает за постом уполномоченного по обороне на углу переулка, ведущего к «Раю», и за резервуаром с водой, стоящим позади библиотеки? Или за секретным заводом по производству боеприпасов, что находится на главной улице? С него-то мистер Стибрин и норовит стибрить то алюминиевые обрезки, то листы фанеры.

Если на то пошло, стоит присмотреться и к самому мистеру Стибрину, разобраться, не оказывает ли он своей деятельностью помощи врагам.

А странные вещи, что творятся в таинственном «Тревиннике»?.. А безответственная болтовня о том, где именно служат мистер Беррилл и сын Макафи? Среди гражданского населения Тупика очень низок боевой дух, как показывают жалобы миссис Шелдон на качество мяса в магазине «Хакналл» и на небрежность тети Ди в отношении светомаскировки. Стало быть, мать Кита следит за всеми нами.

Теперь начинает проясняться очень многое другое (тут, несомненно, всерьез проверяется наша способность глубоко, по-новому понимать происходящее), о чем я прежде и не задумывался, считая все чистой случайностью. Почему из всех улиц в округе немцы выбрали Тупик и сбросили зажигательную бомбу именно на него? И почему из всех домов в Тупике именно на дом мисс Даррант? Что, если мисс Даррант узнала правду про мать Кита и собиралась ее разоблачить?.. А мать Кита о том догадалась, вышла ночью, во время затемнения, и, фонариком подав врагам знак, навела их на цель…

В прихожей у Хейуардов на столе постоянно лежит фонарик.

И еще одна неприятная мыслишка приходит мне в голову: тогда ведь вполне понятна

ее необъяснимая доброта ко мне, ее щедрость с ячменно-лимонным напитком и шоколадной пастой. Это все чистейшее притворство, чтобы скрыть свое истинное нутро.

Проходит всего несколько секунд после той фразы Кита, я по-прежнему стою столбом и разинув рот, даже не пытаясь разобраться, что же из нее следует; но строительство межконтинентальной железной дороги уже заброшено, и мы начинаем тайком следить за матерью Кита. Свешиваясь с перил второго этажа, подглядываем, как она ходит из гостиной в кухню и обратно, напоминая миссис Элмзли, что надо почистить серебро, и обсуждая с ней хвори, одолевающие мать миссис Элмзли. В детской, порывшись в шкафчике с почтовыми принадлежностями, мы находим тетрадку, в которой собирались записывать наблюдения над птицами, но вскоре оставили эту затею, потому что принялись выслеживать появившуюся на поле для гольфа тварь, похожую на человекообразную обезьяну. Кит вычеркивает слово «ПТИЦЫ» и пишет: «ЖУРНАЛ НАБЛЮДЕНИЙ. САВИРШЕНО СИКРЕТНО». В глубине души я не уверен, что «секретный» пишется через «и», но помалкиваю, как и в других, довольно редких случаях, когда у меня возникают

сомнения в правоте моего друга.

Тем временем он начинает заносить в тетрадь наши первые наблюдения: «10.53», — выводит Кит; мы устроились на верхней площадке лестницы и, припав к полу, слушаем, что делает в прихожей его мать. «Звонит по телефону. Просит соединить с номером 8087. Говорит с мистером Хакналлом. Три борани отбивные. Попостнее. К полудню». Она поднимается по лестнице, и мы опрометью бросаемся в детскую… Прерываем расследование и, пока она сидит в уборной, обдумываем кое-что другое… Выходим из детской и крадемся за ней вниз, на кухню… потом в сад, подсматриваем из-за сарая, а она несет знакомую эмалированную миску, исходящую кисло пахнущим паром, к курятнику… Наблюдая за матерью Кита, я обнаруживаю, что за утро она проделывает гораздо больше разных дел, чем я прежде предполагал, и ни разу не прерывает их, чтобы отдохнуть или написать письма. Ее активность совсем не бросается в глаза, ее легко вообще не заметить, потому что делается все так спокойно, неспешно; так… *неуловимо.*

Да, теперь, когда мы знаем правду, нам видна зловещая неприметность ее поступков. И вообще, если внимательно последить за ней и вслушаться

в ее речи — чем мы теперь и занимаемся, — то становится ясно: что-то в ней *не так.* Сразу чувствуется налет фальши в подчеркнуто любезном, ровном голосе, каким она разговаривает с миссис Элмзли, с отцом Кита, даже с курами:

— Миссис Элмзли, вы конечно же не забыли вытереть пыль за часами в столовой?.. Тед, милый, я иду по магазинам, надо кое-что купить для Ди. Тебе что-нибудь нужно? Кстати, на диво дружно взошел салат, ты просто молодец… Ну-ну, дамы. Не надо толкаться и отпихивать друг друга. В очередь, пожалуйста, в очередь. Приготовьте продовольственные карточки…

Таким же фальшивым кажется мне теперь ее преувеличенно веселый тон, когда по дороге от курятника к дому она вдруг оборачивается, видит, что мы, укрываясь то за сараем, то за беседкой, следуем за ней, и шутливо произносит:

— Бах, бах! — Это она изображает, что палит в нас из воображаемого ружья — будто мы еще совсем малыши. — Все, обоих наповал!

Притворяется, что играет в невинную детскую игру, а ведь на самом деле она среди нас чужая и постоянно наблюдает за всеми холодным сторонним взглядом.

Впервые за все время я внимательно вглядыва-

юсь в миссис Элмзли. Прежде мне не приходило в голову спросить себя: почему у нее усы, посреди лба бородавка и почему она разговаривает так тихо…

И еще: вправду ли тот «мистер Хакналл», которому звонила мать Кита, — настоящий мистер Хакналл из мясной лавки, всем известный шутник и балагур в окровавленном фартуке? А даже если это он, то его связь с выявленной шпионкой наводит на мысль: не пора ли нам заняться и им? Помню, как, стоя в нескольких футах от прилавка, он швыряет куски мяса на весы и для смеха во все горло распевает:

— «Если б на всем свете осталась ты одна…»

И перебрасывает блестящие латунные гири из руки в руку, будто жонглер булавы.

— «Только бы ты да я…» — И вдруг кричит кассирше: — Миссис Хакналл, с этой милой дамы причитается два фунта и четыре пенса. Следующий, пожалуйста…

Как и мать Кита, он разыгрывает спектакль, пытаясь скрыть свое истинное нутро. И, если уж на то пошло, что на самом деле означают «бараньи отбивные»? Во всяком случае, когда около полудня на массивном велосипеде, с табличкой «Ф. Хакналл „Мясо для всей семьи“» на раме,

приезжает рассыльный, как можно достоверно узнать, что в маленьком белом свертке, который парнишка достает из огромной корзины над крошечным передним колесом, и впрямь находятся бараньи отбивные?

Все, что прежде казалось нам само собой разумеющимся, теперь вызывает вопросы. Ведь даже то, что видишь собственными глазами, по зрелом размышлении оборачивается чем-то совсем иным, чего ты на самом деле и видеть-то не мог, и сразу возникают всякого рода предположения и версии.

К тому времени, когда мать Кита велит ему мыть руки — пора к столу, — а я бегу обедать домой, в нашем журнале наблюдений набралось уже немало улик. Я, не жуя, глотаю вареную картошку с солониной, сбрасываю вареную брюкву в миску с объедками для свиней, а голова моя занята одним: сегодня днем нам предстоит новая, более рискованная стадия расследования. Когда мать Кита уйдет к себе наверх отдохнуть, мы намерены пробраться в гостиную, снять в прихожей зеркало, висящее рядом с одежными щетками и рожками для обуви, и тщательно осмотреть ее пресс-папье на письменном столе: она же обязательно промокает письма, оставляя

на пресс-папье отпечатки, которые с помощью зеркала будет очень легко разобрать. А если это вдруг не получится, мы возьмем со столика в прихожей фонарик и высветим следы чернил на промокательной бумаге.

До меня смутно доходит, что мама пристает ко мне с расспросами — кажется, на давно знакомую тему. Ну да, завела, как обычно:

— Ты там не надоел хозяевам? Каждый день ведь ходишь к Киту.

— Нет, — бурчу я.

Рот у меня набит манным пудингом. Кит никогда бы не позволил себе разговаривать с набитым ртом, да и я тоже, будь я у него в гостях.

— Надеюсь, ты сегодня туда больше не пойдешь?

Кажется, я оставляю этот вопрос без ответа. Помоему, я вообще даже не гляжу на нее. В ней чувствуется такая беспросветная заурядность, что и существование-то ее трудно заметить.

— Полагаю, его матери иногда хочется просто от вас отдохнуть. Чтобы вы не вертелись постоянно у нее под ногами.

Я загадочно усмехаюсь. Если б она только знала!

— Почему бы тебе разок не позвать Кита к нам?

Поиграли бы здесь.

Она ничего не понимает, а объяснять я не собираюсь. Дожевывая пудинг, я вылезаю из-за стола.

— Куда ты идешь?

— Никуда.

— Не к Киту ли?

— Нет.

Я и в самом деле туда не иду — *сейчас* не иду: мне у них появляться нельзя, пока его отец не кончит обедать. Я выхожу за калитку, надеясь, что найду с кем поиграть, коротая время. Может, там слоняется Норман Стотт, рассчитывая, что я тоже от нечего делать выйду на улицу. Или в свой палисадник выбегут близняшки Джист, чтобы попрыгать в бесконечные «классики». Меня так и подмывает рассказать кому-нибудь о нашем потрясающем открытии и новых, необычайно важных занятиях. Вернее, даже не рассказать, а только туманно и загадочно намекнуть. Нет, даже и намекать не буду, буду просто молчать, сознавая, что им про нашу тайну ничего не известно. Я мысленно представляю, как Ванда и Венди обмениваются очередной мимолетной заносчивой улыбочкой, смысл которой понятен лишь им двоим, а я, перехватив ее, буду думать про свой секрет, несравнимо более важный, чем

все, о чем они шушукаются. Или стану бродить, волоча ноги, рядом с Норманом, тщательно скрывая от него, что на самом деле давно оставил это детское времяпрепровождение.

Но ребята, как один, еще сидят по домам и обедают. Я обхожу весь Тупик. Даже трехколесный велосипед братьев Эйвери одиноко скучает в лужах машинного масла, все три колеса на месте — легкая добыча для немецких солдат, если им случится пройти мимо. Поскольку никого другого вокруг нет, я, возможно, перекинусь парой слов с Барбарой Беррилл. В самый неподходящий момент она всегда тут как тут, преувеличенно, по-девчачьи жеманничает и неестественно жестикулирует. Сегодня я с удовольствием облил бы ее еще большим презрением, чем обычно, но, как на зло, ее нигде не видно.

Я осторожно наблюдаю за домом Кита, надеясь услышать посвистывание мистера Хейуарда или уловить другие признаки того, что обед позади и жизнь пошла своим чередом. Ничего. Тишина. Лишь сдержанная безупречность самого дома, его естественное превосходство, которое прочим домам в Тупике остается лишь признать и относиться к нему с должным почтением. А теперь у этого дома появилось еще одно преимущество, не

известное никому, кроме нас с Китом, — надежно скрытая в самой его глубине значительность, о которой никто никогда не догадается.

Хорошенький сюрприз ожидает всех обыкновенных, скучных жителей Тупика — мою мать, Берриллов, Макафи, Джистов, — и очень даже скоро!

Но еще больший сюрприз ждет, конечно, тетю Ди: когда на ее глазах полицейский слезет с велосипеда у дома миссис Хейуард, это будет означать, что теперь уже некому станет приглядывать за Милли или покупать для нее продукты. Тут меня осеняет, что Киту тоже придется несладко: его мать увезут, а он останется с папой, и они будут жить только вдвоем. Обед Киту будет готовить миссис Элмзли — естественно, если ее не арестуют вместе с матерью Кита. Однако, сам не знаю почему, я никак не могу представить, чтобы миссис Элмзли, усатая и бородавчатая, выставила к чаю шоколадную пасту. Да и позволит ли она мне остаться у них на чай?

До меня начинает доходить, что последствия нашего дознания могут оказаться для каждого из нас весьма огорчительными. Все совсем не так просто, как мне поначалу казалось.

Но, раз мать Кита шпионит на немцев, ничего

не поделаешь. В войну приходится идти на жертвы. Терпеть лишения, чтобы выстоять.

До меня доносится свист. За углом дома Хейуардов я мельком вижу отца Кита, он направляется в сторону огорода. Отбросив нахлынувшие сожаления, я открываю их калитку.

— Вам, друзья мои, есть ведь чем заняться, правда? — заглядывая в приоткрытую дверь детской, спрашивает мать Кита; она идет к себе отдохнуть. Мы молча киваем. — Только сильно не шумите.

А мы сильно не шумим никогда. Но теперь не шумим вообще. В полной тишине, не глядя друг на друга, мы сидим на полу и прислушиваемся; наконец раздается негромкий щелчок: это закрылась отлично смазанная дверь *ее* спальни. Мы крадемся вниз, застывая на месте всякий раз, как скрипнет доска под ногами или перила под рукой. В прихожей Кит неслышно снимает с крючка зеркало, берет со стола фонарик и направляется к двери гостиной. Очень медленно поворачивает ручку и, обернувшись к лестнице, снова замирает.

Громко тикают массивные напольные часы. Больше — ни звука. Мне страшно хочется очутиться у себя дома.

Кит осторожно открывает дверь. В комнате

царит еще более глубокая, ничем не нарушаемая тишина. Малейший шорох тонет в густом ворсе бледнозеленого ковра, в темно-зеленом бархате портьер и обивки. Неслышными шагами индейцев племени сиу мы подходим к письменному столу. Отражаясь в его полированной поверхности, поблескивает серебро: нож для разрезания бумаги, маленькая настольная лампа, пара колпачков для гашения свечей и множество фотографий в серебряных рамках, под разными углами с достоинством опирающихся на невидимые подпорки. Кит открывает обтянутые кожей створки пресс-папье.

Перед нами — девственная белизна промокательной бумаги, без каких-либо чернильных отпечатков. Кит откладывает зеркало в сторону и включает фонарик. Пристраивает его у самого пресс-папье — точно так, как описывается в прочитанных нами книжках; на стол, словно при заходе солнца, ложатся длинные тени. Склонившись к пресс-папье, Кит рассматривает его в лупу из набора юного филателиста. Медленно, двигаясь от середины к краям, дюйм за дюймом исследует промокашку.

Коротая время, я разглядываю фотографии в серебряных рамках. С одной из них, снятой немного

не в фокусе, на меня серьезно смотрит девочка примерно наших с Китом лет. Она стоит в залитом солнцем саду, на ней длинные, до локтя, перчатки и широкополая летняя шляпка размера на три больше, чем нужно. Я догадываюсь, что это мать Кита, она строит из себя взрослую даму, в которую теперь и превратилась; я отчего-то конфужусь. Одной рукой она покровительственно обнимает другую маленькую девочку, на несколько лет моложе, которая держит куклу и смотрит на старшую снизу вверх, доверчиво и чуточку опасливо. Это тетя Ди, разыгрывающая из себя малолетнюю подопечную старшей сестры. Как-то неловко, почти стыдно разглядывать их такими беззащитными, без надежной коры взрослости; они по-детски что-то из себя изображают перед камерой, а тетя Ди по наивности и предположить не может, кем однажды станет ее старшая сестра; на душе почему-то становится горько.

Выпрямившись, Кит молча подает мне лупу. Я склоняюсь к пресс-папье и, подражая другу, медленно и методично исследую промокашку. На ней все-таки есть следы чернил, но очень бледные и запутанные — вероятно, отпечатки наложились друг на друга. Кажется, я могу разобрать некоторые буквы и пару слогов: вроде бы

«четв» и «ли ты».

— Видишь? — шепчет мне в ухо Кит и тычет пальцем.

Я вглядываюсь в промокашку вокруг его гигантского ногтя. Пожалуй, можно различить восьмерку и двойку. Или же это тройка и вопросительный знак.

— Код, — шепотом объясняет Кит.

Он заносит обнаруженные буквы и цифры в журнал наблюдений, затем закрывает створки пресспапье. Я испытываю одно лишь облегчение: ура, операция завершена, и мы успеем убраться из комнаты, прежде чем проснется его мать или в дом вернется отец. Но Кит жестом останавливает меня; дознание еще не закончено. Он неслышно выдвигает из-под столешницы длинный ящик. Из серебряной рамки за нами внимательно наблюдает мать Кита, а мы склоняемся к ящику, чтобы исследовать его содержимое.

Фирменная красивая почтовая бумага… Конверты… Книжечки марок по два с половиной пенса… Все аккуратно сложено, вокруг много свободного места… Алфавитная записная книжка…

Кит вытаскивает ее и начинает листать. Записи сделаны четким каллиграфическим почерком. Аштоны (уборщики)… М-р и м-с Джеймс Баттеру-

орт, Марджори Бир, Бишоп (мойщик окон)… Кто такие м-р и м-с Джеймс Баттеруорт и Марджори Бир? Наверно, конспиративные имена… Доктор, дантист… Канцелярский магазин… На каждую букву алфавита в книжке всего по нескольку фамилий, в большинстве, видимо, местных лавочников. Есть тут и Хакналл (мясник), замечаю я… Но из соседей по Тупику не вижу никого, кроме м-ра и м-с Трейси… Кит рассматривает в лупу каждую запись и некоторые заносит в наш журнал.

А я тем временем опять смотрю на фотографии. Вот весело хохочут трое молодых людей в белых теннисных костюмах: это мать Кита и тетя Ди, а между ними по-мальчишески развязный дядя Питер. Поодаль виднеется четвертая фигура; знакомые стриженые, безжизненные на вид седые волосы и не сулящая ничего хорошего ироническая ухмылка — уже в точности те самые, что неизменно пугают меня. Та же четверка, но на пляже; дядя Питер стоит на голове, мать Кита и тетя Ди держат его за ноги. А вот строгая юная невеста, смущенно откинув с лица фату, стоит у церковной двери; длинный белый шлейф подвенечного платья аккуратно разложен перед ней на ступенях. Это мать Кита, она опирается на

руку какого-то типа в сером фраке, над фраком змеится ироническая ухмылка.

Рядом с этой фотографией, явно в пару к ней, — снимок еще одной невесты, почти неотличимой от первой; она стоит вроде бы у той же самой церковной двери, и такой же шлейф точно так же разложен на ступенях. Впрочем, эта невеста чуточку пониже ростом, держится она чуточку смелее и выглядит почему-то более современно. Она опирается на руку, которую облегает серый рукав особого оттенка: на самом деле рукав вовсе не серый, а синий, я точно знаю — ведь это цвет формы военных летчиков. Рука принадлежит жениху с неизменно мальчишескими прической и улыбкой.

Мать и отец, тетя и дядя; вчетвером они наблюдают за нами из прошлого, пока мы пытаемся проникнуть в тайны настоящего и разрушить их последствия в будущем.

У задней стенки ящика Кит обнаруживает миниатюрный дневник. Меня вновь охватывает тревога. Надеюсь, мы не станем открывать дневник его матери? Чужие дневники читать нельзя… Но Кит его уже раскрыл и листает странички, а я заглядываю ему через плечо.

Здесь записей тоже мало: «Доктор… Д. рож-

дения Милли… Занавески из чистки… Годовщ. свадьбы…» Несколько записей явно светского характера: «Бриджу Кервенсов… Родители Теда… Тед уехал на званый обед в О. Х.…» Очень много про К.: «У К. начинаются занятия (взять из чистки спортивную куртку, рубашки для крикета)… У К. день спортивных состязаний… К. к зубному…»

Не знаю, каким образом Кит замечает первый шифрованный знак, только вдруг он перестает листать страницы и, забыв про лупу, подносит дневник к самым глазам. Потом смотрит на меня с тем особым выражением, которое появляется у него на лице, когда случается что-то действительно важное. Именно так он смотрел на меня, когда на пустыре за садом мистера Горта мы откопали первый позвоночник.

— Что? — шепотом спрашиваю я.

Он протягивает мне дневник и указывает на пустую страничку одной из январских пятниц.

Сначала страница кажется совершенно чистой. Но потом я замечаю крошечный знак, мельче всех прочих записей: между датой и фазой луны неприметно примостился малюсенький *х.*

По телу у меня пробегает незнакомая дрожь. Ничего подобного мы до сих пор не видели и уж конечно в журнал не заносили. Что бы ни озна-

чал этот микроскопический знак, поставлен он явно не для того, чтобы его заметили и разгадали посторонние. Выходит, мы наткнулись на какой-то самый настоящий секрет.

Кит смотрит на меня с прежним выражением, ожидая моей реакции. В его глазах мерцает неприятный огонек. Кит уже догадался, что я трушу — так уже было, когда он вынул из земли первый обнаруженный нами позвонок и я расхотел продолжать раскопки. Его опасения подтверждаются: я сам чувствую, что интерес к расследованию у меня вдруг испарился.

Я кладу дневник обратно в ящик.

— Лучше нам в это не соваться, — шепчу я.

Уголок рта у Кита едва заметно приподымается, выражая несомненное на ту минуту превосходство надо мной. Помню, он и прежде очень часто унижал меня подобным же образом: начинается все как игра, а потом превращается в испытание, которого я не выдерживаю.

Кит снова вынимает из ящика дневник и принимается медленно листать.

— А вдруг это что-то личное… — жалобно говорю я.

— Давай записывай, — командует он.

И следит, пока я скрепя сердце вывожу в жур-

нале дату и рядом с ней знак *х.* Уже на полпути к двери я замечаю, что Кит, не отходя от стола, по-прежнему листает дневник.

— А вот еще кое-что, — говорит он. — Только совсем другое.

Я топчусь в нерешительности. Но деваться некуда: все-таки возвращаюсь и гляжу ему через плечо. Он тычет пальцем в февральскую субботу. Возле числа стоит крохотный восклицательный знак.

— Запиши, — говорит Кит.

И листает дневник дальше. Снова попадаются крестики. И восклицательные знаки. По мере того как я заношу их в журнал, начинает вырисовываться некая система. Крестик, или иксик — кто его знает? — встречается раз в месяц. Иногда на одной странице он зачеркнут и вписан на другой — днем раньше или позже. Восклицательный же знак появлялся за год всего трижды, причем через разные промежутки времени: в январскую субботу, потом тоже в субботу, но в марте, и в один апрельский вторник. Возле этой последней даты я с необъяснимой тревогой замечаю помету: «годовщ. свадьбы».

От моего прежнего смущения не остается и следа, оно отступило перед огромной неразгаданной

тайной. Я поглядываю на мать Кита, застенчиво улыбающуюся нам из-под фаты. Непостижимо, в голове не укладывается! Выходит, она *взаправду* немецкая шпионка! Тут ведь совсем не тот случай, что с маньяком-убийцей мистером Гортом или с квартирантами «Тревинника», входящими в какую-то злокозненную организацию. И не тот, что с другими жителями Тупика, каждый из которых может оказаться убийцей или немецким шпионом. Она-то… *немецкая шпионка* в прямом смысле слова!..

Мы просматриваем записи в журнале. Получается, она каждый месяц что-то такое проделывает. Что-то, чего ей нельзя пропустить. Явно очень секретное. Что бы это могло быть?

— Она с кем-то встречается, — решаюсь предположить я. — Втихомолку. Время назначается заранее, но иногда тот агент прийти не может, и встречу приходится переносить…

Мой друг глядит на меня и молчит. Я даю волю воображению и чувствую, что сейчас Киту за мной не угнаться.

— А еще, но только реже, происходит что-то другое, — медленно продолжаю я. — Что-то неожиданное, непредсказуемое…

И замечаю, что Кит по-прежнему чуть заметно

усмехается. Вовсе он не отстал от меня, наоборот, непонятным образом опередил и просто ждет удобного случая, чтобы меня поддразнить.

— Встречи с иксом, — шепчет он наконец. — Как часто они происходят?

У меня на затылке волосы встают дыбом. По голосу Кита я догадываюсь, что надвигается какая-то жуть, но ума не приложу, что именно.

— Раз в месяц, — беспомощно бормочу я.

Кит Медленно качает головой.

— Да, да, посмотри сам, — упорствую я, — в январе, в феврале…

Он снова отрицательно качает головой:

— Раз в четыре недели.

Не понимаю, куда он клонит.

— Какая разница?

Едва заметно улыбаясь, он ждет, пока я заново просматриваю дневник. Пожалуй, он прав. Каждый месяц иксик появляется чуточку раньше, чем прежде.

— И что из этого?

— А ты посмотри на луну, — шепчет он.

Я листаю дневник с начала, поглядывая на фазу луны возле иксиков. В самом деле, их появление явно связано с лунным календарем. Очередной иксис возникает каждый месяц возле одного и

того же знака: закрашенного черным кружочка. Я гляжу на Кита.

— Безлунная ночь, — шепотом подтверждает он. У меня по загривку снова бегут мурашки. Теперь я так же отчетливо, как и мой друг, представляю себе возможный ход событий: самолет без опознавательных огней садится на площадку для гольфа, в кромешной тьме на землю бесшумно опускается парашютист…

Я листаю странички дневника. Последний иксик поставлен две ночи назад. Очередь следующего наступит через двадцать шесть дней. И больше — ничего. Ни иксов, ни восклицательных знаков.

Значит, последняя встреча была в безлунную ночь…

Внезапно весь дом наполняется затейливым волшебным перезвоном. Это одновременно бьют трое часов.

При первых же звуках мы подскакиваем на месте, швыряем дневник обратно, с грохотом задвигаем ящик и мчимся к двери.

На пороге гостиной стоит мать Кита, не менее пораженная встречей с нами нос к носу, чем мы — столкновением с ней.

— Что вы здесь делаете? — строго спрашивает

она.

— Ничего, — отвечает Кит.

— Ничего, — вторю я.

— Вы ничего не вытаскивали из моего стола?

— Нет.

— Нет.

Она видела нас? Поняла, чем мы занимались? Сколько же времени она за нами наблюдала? Каждый из нас троих стоит на своем, не очень понимая, как выходить из положения.

— Странные у вас обоих лица. Отчего бы это?

Мы с Китом переглядываемся. И правда, выражение на наших физиономиях очень странное. Но кто скажет, с какой миной на лице пристало говорить с человеком, который, как нам точно известно, совсем недавно встречался тайком с немецким связным? И потом, нельзя же показывать ей, что мы все знаем.

Она кладет на стол библиотечную книгу, берет другую и, нахмурив брови, мешкает в нерешительности.

— Постой, это же твоя лупа, верно? — спрашивает она. — И зачем здесь фонарик? И зеркало?

— Мы просто играли, — говорит Кит.

— Но ты же знаешь, здесь играть нельзя. Почему вы не идете на улицу?

Кит молча сует лупу в карман. Мы молча возвращаем фонарик и зеркало на место. Кит открывает входную дверь, я оборачиваюсь. С порога гостиной мать Кита по-прежнему внимательно наблюдает за нами; наше поведение интересует ее ничуть не меньше, чем ее поведение — нас.

Все в мире разом переменилось, да так, что невозможно ни вообразить, ни достоверно восстановить в памяти.

Итак, мы, как было велено, играем на улице.

Теперь, глядя назад сквозь коридор лет, я не исключаю, что это был просто очередной поворотный пункт в той истории. Все могло сложиться совсем по-иному, если бы матери Кита не взбрело на ум отправить нас из дому. Мы поднялись бы опять в детскую и там, в безмятежном упорядоченном мирке нормальных игрушек, обсудили бы наше сногсшибательное открытие. Но вне дома у нас есть лишь одно-единственное место, где мы можем разговаривать, не опасаясь, что нас увидят или услышат; однако, чтобы туда попасть, надо пересечь невидимую границу, за которой — другая, никому не известная страна.

Если раздвинуть — надо только знать где — густую растительность, бывшую некогда живой изгородью перед домом мисс Даррант, то под

ветками, словно по низкому тоннелю, можно проползти в более просторный тайник, вырубленный нами в самой чащобе. Полом служит голая твердая земля. В тайнике царит зеленый полумрак. Даже дождь почти не проникает сквозь густую листву. Здесь нас не увидит ни одна живая душа. Далеко позади остались фотографии в серебряных рамках и шоколадная паста.

Позапрошлым летом мы разбили здесь базовый лагерь, разрабатывали планы всевозможных экспедиций в африканские джунгли и спасались от канадской конной полиции. Прошлым летом устроили здесь засаду, чтобы наблюдать за птицами. А теперь тут будет штаб куда более серьезной операции.

Кит сидит на земле, скрестив ноги, упершись локтями в колени и обхватив ладонями голову. Я сижу напротив, точно так же скрестив ноги; мелкие прутики колют спину, болтающиеся на паутинках крохотные насекомые путаются в волосах и падают мне за шиворот, но я почти ничего не замечаю. Рот мой, наверно, опять полуоткрыт; я покорно жду указаний Кита: как нам все это понимать и что делать.

Сейчас мне очень трудно восстановить обуревавшие меня в ту минуту чувства, сложные

и грандиозные. Более всего, должно быть, меня поражает как раз их *грандиозность.* После того как многие дни и годы проходили в ничтожных страхах и скуке, в мелких докучливых занятиях и обидах, на нас вдруг сваливается явление большой значимости. Нам доверено, необычайно важное задание. Мы должны защитить нашу родину от врагов. И я понимаю, что при задании такого масштаба неизбежны страшные трудности и мучительные душевные конфликты. Мне приоткрывается глубинная суть вещей, мрачная и печальная.

Острее прежнего я сознаю, какая честь для меня — дружба с Китом. В моих глазах его родители вырастают до героев какого-нибудь древнего эпоса: благородный отец и предательница-мать разыгрывают извечный конфликт между добром и злом, светом и тьмой. А теперь самой судьбой Киту предназначено стать рядом с ними и поддержать честь одного, наказав другую за бесчестье. Мне тоже отведена в этой истории отдельная роль, пусть и скромная: роль верного вассала и оруженосца, без которого герою не обойтись.

Кажется, я даже понимаю, что Кит не только один из главных участников событий, которые мы въяве переживаем. Каким-то непостижи-

мым образом он же и творит эти события. Он и раньше проделывал нечто подобное — достаточно вспомнить хотя бы убийства, совершенные мистером Гортом, или строительство межконтинентальной железной дороги и подземного хода между нашими домами. В каждом из этих случаев Кит произносил слова, и все выходило по его словам. Он рассказывал историю, и история оживала. Но прежде ни одна история не становилась *взаправдашней, по-настоящему* взаправдашной. А в этот раз…

Я сижу, уставившись на Кита, и жду, что он объявит мне, как нам действовать в этом рискованном приключении, в которое он нас втравил. Он сидит, уставившись в землю; погруженный в свои мысли, он явно позабыл о моем существовании. Такое с ним случается, и тогда он, как и его отец, в упор меня не видит.

Между тем в числе прочих обязанностей оруженосец должен бестолковыми советами подстегивать фантазию сюзерена.

— Может, рассказать все твоему папе?

В ответ — молчание. И я понимаю почему: ведь, едва выпалив свой вопрос, я уже представляю себе, что за таким шагом воспоследует. Мысленно вижу, как мы приближаемся к отцу Кита, кото-

рый, насвистывая, работает в саду. Ждем, что он обернется или смолкнет, чтобы перевести дух. Ни того, ни другого не происходит. Кит вынужден подать голос:

— Папочка, мы со Стивеном читали мамин дневник…

Немыслимо!

— Или сообщить в полицию? — делаю я новую попытку.

Правда, едва ли я представляю себе, как это осуществить практически. Никакого опыта общения с полицией у меня нет, я понятия не имею, где в случае необходимости искать полицейских. Полицейские ведь появляются сами собой, они медленно идут мимо магазинов или медленно едут на велосипеде по мостовой. И тут — щелк! В моем воображении услужливо появляется полицейский, он медленно катит по улице.

— Извините, — вежливо обращается к нему Кит; я же молча стою за спиной товарища.

Полицейский останавливает велосипед, опускает ногу на землю — как в тот день возле дома тети Ди — и недоверчиво смотрит на нас с Китом. Точно так же он смотрел на ребятишек, восторженно бежавших в тот день рядом с его велосипедом.

— Моя мать, — начинает Кит, — она…

Но больше никакие слова на ум не идут. Как такое вымолвить, да еще полицейскому? Во всяком случае, Кит по-прежнему молчит.

— Можно написать анонимное письмо мистеру Макафи, — не унимаюсь я.

Время от времени, к вечеру или по выходным, мистер Макафи превращается в полицейского, только на голове у него почему-то не шлем, а плоская фуражка с кокардой. Зато мы знаем, где его найти — в соседнем с Китом доме. Однажды мы уже сочиняли ему анонимное письмо, перечислив факты, изобличающие мистера Горта. Собственноручно, измененным почерком Кит сообщил «Мистеру Мокаффи», что мы обнаружили четыре человеческих позвонка. Пока, правда, незаметно, чтобы мистеру Горту грозил арест.

Но вот Кит выходит из оцепенения. Нашарив сзади замаскированный ветками плоский камень, достает из-под него ключ. Сбоку спрятан черный жестяной сундучок с зазубренными краями, найденный в развалинах дома мисс Даррант. Сундучок заперт на висячий замочек, его мне подарили в день рождения для велосипеда. Кит отпирает сундучок и кладет наш журнал наблюдений поверх всякой всячины, которую

мы аккуратнейшим образом, как нормальные игрушки Кита, храним в нашей сокровищнице. Там лежит кусок искореженного серого металла от сбитого немецкого самолета, огрызок цветного карандаша, с одного конца синего, с другого — красного; таким обычно пользуются учителя при проверке письменных работ. Карандаш, как и сундучок, был обнаружен на пожарище, где сгорела жизнь мисс Даррант. Еще там лежат свечной огарок и коробок спичек, четыре боевых патрона двадцать второго калибра, выменянных Китом в школе на модель танка, и британский государственный флаг, который мы вешаем над сундучком в День империи[2] и в день рождения короля.

Кит вынимает из сундучка наше самое заветное, свято хранимое сокровище — штык, которым его отец заколол пять германцев.

Простое описание, однако, не отражает в полной мере метафизическую значимость предмета, который зажат в руке Кита. Предмет этот является и одновременно не является тем самым священным штыком — так же, как просфора

---

[2] Примечания: 2

День империи — английский национальный праздник, отмечался с 1903 по 1958 г. 24 мая, в день рождения королевы Виктории (1819–1901).

и вино являются и одновременно не являются телом и кровью того, кто является и одновременно не является Богом. Физически предмет этот представляет собой прямой длинный нож для разделки мяса, тоже найденный, как и многое другое, в развалинах дома мисс — Даррант. Костяная ручка отсутствует, зато лезвие Кит наточил на отцовском точильном круге, который стоит на верстаке в их гараже, и так навострил, что у ножа теперь два лезвия, а кончик — что у твоей рапиры. Но по своей внутренней сути наш штык неотличим от священного штыка, который вместе с отцом Кита каждую субботу отправляется в органы контрразведки.

Кит протягивает мне нож. Я кладу ладонь на его плоскую поверхность, с трепетом ощущая обоюдоострое лезвие. Кит смотрит мне прямо в глаза.

— Клянусь, — произносит он.

— Клянусь, — повторяю я.

— Никогда и никому не раскрывать ничего без особого на то разрешения.

— Никогда и никому не раскрывать ничего без особого на то разрешения, — торжественно, нараспев повторяю я.

Но, видимо, недостаточно торжественно, чтобы умиротворить Кита. Не убирая ножа, он все так

же пристально смотрит мне в глаза:

— Моего, Кита Хейуарда, разрешения.

— Твоего, Кита Хейуарда, разрешения.

— И да поможет мне Бог, а если я нарушу слово, то пусть мне перережут горло, и я умру.

Немного подавленный нешуточной клятвой, я старательно повторяю ее слово в слово.

— Стивен Уитли, — заключает Кит.

— Стивен Уитли, — подтверждаю я.

Он осторожно опускает штык на крышку сундучка.

— Здесь будет наш наблюдательный пункт, — объявляет Кит. — Отсюда будем вести наблюдение за домом; как только заметим, что она выходит на улицу, будем следовать за ней и наносить на карту все ее маршруты.

Мы приступаем к делу: расчищаем в густой зелени незаметные снаружи просветы; сквозь них видно все, что происходит в Тупике, а особенно хорошо виден дом Кита, стоящий неподалеку на противоположной стороне улицы.

Но тут я вспоминаю про одно вполне реальное препятствие:

— А как же школа?

— Будем приходить сюда после уроков.

— А как же чай или ужин?

— Будем дежурить по очереди.

На самом деле следить за *ней* нужно, конечно, темными вечерами в конце месяца, когда *она* ходит на свои таинственные явки.

— А что, если придется идти ночью? — спрашиваю я. — Ночью же нам не разрешают выходить.

— А каждый из нас спрячет у себя в спальне веревку, навяжет на ней узлов, вылезет через окно, и мы встретимся здесь. Из бомбоубежища натаскаем еще свечей.

Меня пробирает дрожь. Я уже чувствую ладонями грубые узлы веревки, шею овевает пугающий холод ночи. Трепещет на ветру пламя свечей, а вокруг непроницаемая тьма. Впереди слышатся тихие шаги, мы крадемся за матерью Кита в сторону магазинов… мимо станции… сквозь кусты над карьерами… на открытую посадочную полосу.

— Ну и что же мы там сделаем? — спрашиваю я.

Должен же, мне кажется, наступить момент в нашей грандиозной программе действий, когда в ней обязательно примут участие власти из мира взрослых.

Кит молча поднимает штык и смотрит на меня.

Что он этим хочет сказать? Что мы сами арестуем ее под угрозой оружия? Или что мы, по примеру его отца, вонзим штык в ребра связного, с которым она встречается?

Не может же быть, что мы возьмем да и… Не собственную же *мать!*

Кит опустил веки. Лицо у него непреклонное и безжалостное. Он стал похож на отца. Наверное, именно так выглядел его отец одним ранним серењким утром на той Великой Мировой войне, насаживая штык на дуло револьвера перед предстоящей битвой.

Меня снова пробирает дрожь. Безлунная ночь… Я чувствую, как тьма окружает меня, давит на глаза…

Кит вновь открывает сундучок. Вытаскивает белую кафельную плитку, тоже найденную в обломках дома, и огрызок цветного карандаша. Красным концом аккуратно выводит на плитке печатными буквами три слова и втискивает плитку в развилку ветвей над зеленым тоннельчиком:

«БАЗ. ФХОД ВАСПРИЩЕН».

Мне не хочется задавать вопросы про надпись, сделанную так тщательно и уверенно. Смысл ее

ведь мне достаточно ясен: мы пускаемся в долгий путь по пустынной дороге, на которую, кроме нас, не ступит больше ни одна живая душа.

4

Согнувшись в три погибели, она сидит у радиопередатчика, укрытого в подвалах старинного замка, и выстукивает что-то азбукой Морзе, а я сейчас выскочу прямо перед ней из-за потайной дверцы в стене… Но вдруг слышу, кто-то громко называет мою фамилию, и из подвального полумрака я вдруг оказываюсь в школьном классе; мистер Пол стоит, прислонясь к доске, и насмешливо улыбается, а все ребята, хихикая, смотрят на меня и ждут: сумею я ответить на заданный вопрос или нет. Но что это за вопрос и каким предметом мы сейчас занимаемся, я понятия не имею.

В обеденный перерыв, ухватив меня по заведенному недавно обычаю за уши, Ханнинг и Нил мотают мою голову взад и вперед, распевая: «Убогий, утлый Уитли, Уитли-хилячок», но я впервые не отчаиваюсь, мне придает сил мысль, что между моими истерзанными ушами хранится тайна необычайной важности.

Вернувшись из школы, я бегу прямиком к наблюдательному посту и начинаю слежку за

домом Хейуардов. Не успел подойти Кит, как мне уже пора домой пить чай, а едва мы оба вернулись в наше логово после чаепития, как уже надо опять идти по домам делать уроки, ужинать и спать. Я это предвидел. На нас возложена задача государственной важности, но заниматься ею нам беспрерывно мешают ничтожные бытовые мелочи.

— Чего тебе не сидится? — в который раз спрашивает мама, глядя, как я ерзаю на стуле и тяжко вздыхаю над отварной рыбой или переводом с латинского. — Что это на тебя нашло?

— Небось опять твой дружок, олух царя небесного, новую забаву придумал? — спрашивает Джефф с саркастической улыбочкой, приводящей меня в полное бешенство. — Что он на этот раз изобрел? Или вы все гоняетесь за человеком-гориллой на поле для гольфа?

Я безмолвно терплю насмешки. Меня так и подмывает проронить хотя бы туманный полунамек и посмотреть, как они изменятся в лице. Но я креплюсь. Я же дал клятву и намерен сдержать ее и по форме, и по существу.

Я вытираю рот тыльной стороной ладони или закрываю тетрадь и, соскочив со стула, намереваюсь бежать на пост.

— Куда это ты направился?! — вскрикивает мать. — К Киту сегодня вечером больше не пойдешь, и весь сказ.

— Знаю, знаю, я к Киту и не иду!

— Нет, эти оболтусы по *чужим* садам будут лазать, — замечает Джефф.

— Откуда тебе знать, что мы делаем!

— Да я вас видел, приятель! Вы слонялись возле дома мистера Горта, все искали человека-гориллу! В вашем-то возрасте — это, знаешь ли, адски трогательно.

А я видел *его, Джеффа,* он слонялся возле дома Дидре Беррилл. Только говорить об этом адски стыдно, хотя и тянет уязвить брата.

— Во всяком случае, хорошо бы тебе сегодня посидеть вечерок дома, — говорит мать. — Как-никак сегодня пятница.

Верно, снова пятница, и это обстоятельство еще больше осложняет ситуацию. Почему-то мне каждую пятницу твердят, что было бы *очень хорошо,* если бы я вечером посидел дома, а когда я уклоняюсь от такой прекрасной перспективы и все-таки ухожу, то всякий раз кожей чувствую висящий в воздухе невысказанный и необъяснимый укор.

— И папа сегодня дома… Он ведь тебя совсем не видит!

Действительно, в довершение всего даже отец сегодня дома. Снова задремал в кресле, а сейчас мы своей перепалкой его разбудили. Он сонно, с нескрываемым удовольствием улыбается мне, подкрепляя тем самым доводы матери.

— Значит, Стивен тут, — как всегда, неторопливо и отчетливо произносит он. — Так, так, так. Сядька! Поговори со мной! Расскажи мне что-нибудь.

Я неохотно усаживаюсь во второе кресло. Пятница… Отец… От меня требуют отчета. Деваться некуда. Попался.

— Про что?

— Чем ты сегодня занимался в школе?

О чем же рассказать? О том, как мистер Сэнки откручивал мне правое ухо за то, что я не смог назвать слово quis в аблативе? Или как мистер Пол откручивал мне левое ухо за то, что, увлекшись слежкой за матерью Кита, передававшей немцам важные сведения, я так и не понял, на какой вопрос я не сумел ответить? Или про Ханнинга и Нила, измочаливших мне сразу оба уха за то, что, несмотря на многочисленные предупреждения, я упорствую и по-прежнему остаюсь убогим утлым Уитли-хилячком?

— Повторяли, — роняю я.

— Повторяли что?

Мне стоит огромного труда припомнить, что именно.

— Уравнения там… И Канаду. По географии. Про пшеницу там, минералы.

— Хорошо, — отзывается отец. — Прекрасно. Тогда чему равен икс, если семь икс в квадрате равняется шестидесяти трем?

За окном над его головой в ясном синем небе висит еле заметный каббалистический знак — бледный призрак новой луны, перевернутая задом наперед буква С, словно мне одному видимое предзнаменование. Небесный календарь уже вновь открыл счет дням. Сначала месяц будет расти, потом опять начнет убывать, пока не истает во мраке, превратившись… в икс — неизвестное, которое мы сможем найти, решив уравнение.

Условие отцовской задачи уже вылетело у меня из головы.

— Таких уравнений мы не проходили, — с досадой говорю я.

— Да? Ну что ж, хорошо. На какую примерно сумму Канада ежегодно производит пшеницу? В пересчете на канадские доллары или в фунтах стерлингов, это как тебе угодно.

Я беспомощно пожимаю плечами. Разве могу я

думать про экономику Канады, когда точно знаю, что в закатном свете по округе бродит вражеская шпионка, собирая сведения о топографии нашего поселка? Уточняет координаты нашего военного завода, на котором работает мистер Стибрин… Разыскивает секретную подземную исследовательскую лабораторию в районе «Рая»… Возможно, успешно завершает одну из крупнейших в истории шпионских операций, которая потом войдет во все учебники разведывательного искусства…

А мой отец, начав допытываться, хочет вызнать про мою жизнь досконально все. Тихо и внятно он ведет бесконечные расспросы: теперь мне легче ладить с другими ребятами? Они меня больше не обзывают? Дело в том, что однажды я поинтересовался у матери, что такое «жид». Не говоря ни слова, она просто втолкнула меня в столовую, где за обеденным столом, заваленным рабочими бумагами, расположился отец, и велела мне повторить вопрос. За ту минуту я, разумеется, успел понять, что «жид» явно принадлежит к обширной категории вещей, о которых ни под каким видом нельзя говорить вслух. А я-то ведь по звучанию решил, что слово это связано с чем-то жидким… Отец долго смотрел на меня

— точно с таким же выражением лица он слушал мой рассказ про «ливреев» в «Тревиннике».

— Тебя кто-то так назвал?

Я поспешно замотал головой, чувствуя, что лицо заливает краска.

— Кто-то из одноклассников? — продолжал отец, не отводя внимательного взгляда.

— Нет.

— Что еще говорили?

— Ничего.

Он вздохнул и потер глаза, как делал в минуту усталости.

— Не обращай внимания, — наконец произнес он. — Выбрось из головы. Брань на вороту не виснет, так? А если кто-нибудь еще раз обзовет, сразу сообщи мне, я поговорю с учителями.

— Да нет, — уверяю я, — никто меня не обзывает.

Но отец не унимается: с кем из одноклассников я подружился? Кто мой любимый учитель? Вошел ли я во вкус естествознания?

А *я* зато никак не пойму, что плохого, если я ухожу из дому в пятницу вечером. Есть и другие загадочные вещи. Почему мой отец в жизни не убил ни единого немца? Почему никто из наших родственников не служит в Королевских ВВС?

Почему у нас такая странная фамилия: «Уитли»? Почему нам нельзя называться как-нибудь иначе, вроде «Хейуард»? Что-то есть в нашей жизни печальное, только откуда она, эта печаль, не ясно. Частенько, вернувшись из школы, я обнаруживаю, что в залу меня не пускают, потому что там сидит какой-то унылый незнакомец, молча поджидает отца, а потом ведет с ним невеселую беседу, которую нам с Джеффом строго-настрого запрещено подслушивать.

Уже скоро пора спать, а я только выскальзываю наконец из лап моей незавидной родни и сломя голову мчусь из дому прочь. Из калитки я выскакиваю с такой скоростью, что едва не налетаю на мать Кита. Она неторопливо идет по нашему Тупику. Мы останавливаемся как вкопанные, изумленные второй неожиданной встречей; оба обескуражены, словно столкнувшиеся нос к носу тигр и охотник на крупного зверя.

— Господи помилуй, Стивен! Куда это ты так спешишь?

— Никуда.

Она, конечно же, сразу догадывается, куда я навострил лыжи.

— Боюсь, Стивен, что Кит уже лег спать. Приходи лучше завтра.

— Ладно, — невоспитанно буркаю я и так же внезапно, как выскочил, скрываюсь за своей калиткой.

Потом, когда сердце в груди перестает бешено колотиться, я начинаю перебирать подробности нашей встречи, и меня поражает даже не столько ее самообладание, сколько кое-что другое: впечатление было такое, что она совершенно отключилась от окружающего мира. Глубоко ушла в собственные мысли. Вот почему ее так ошарашило мое появление. И обратилась она ко мне напрямую, по имени. Прежде, по-моему, этого не случалось ни разу.

О чем же она думала? Я припоминаю выражение ее лица, голос, каким она произнесла «Стивен», и догадываюсь, что думала она о грустном. И тут мне, наверно, впервые приходит в голову, что предательство родины должно причинять немалые нравственные муки и что у Хейуардов в воздухе витает даже больше вопросов без ответов, чем у нас дома.

Уже, если не ошибаюсь, в следующую субботу мы беремся за слежку всерьез. Часами впустую глядим из своего укрытия, словно ведем наблюдение за какой-нибудь мутной равнинной рекой, течение в которой можно заметить только по

изредка плывущему мимо мусору или по сонным водоворотам.

Утром главное событие — это появление молочника с тележкой. Сначала раздается неторопливое тарахтенье под неритмичный цокот лошадиных копыт… Затем, когда лошадь ждет, а потом трогается дальше, до нас долетает легкий шорох и позвякиванье сбруи… Наконец, прямо перед наблюдательным постом появляется тележка, за ней шагает молочник, сосредоточенно глядя в знакомую потрепанную книгу заказов; книга раскрыта на нужной странице и для верности стянута знакомой резинкой… Опять пауза; погруженная в унылые размышления лошадь фыркает, время от времени пуская мощную струю мочи, а молочник тем временем обходит с бутылками очередную группу домов.

В бинокль, купленный для наблюдения за птицами, Кит следит, как он идет по дорожке к кухонной двери их дома. А вдруг молочник тоже член шпионской сети? Выведывает в домах секреты, записывает в длинную книгу заказов, а потом сообщает матери Кита, чтобы она передала эти сведения дальше?..

Кит смотрит на подаренные ему в день рождения часы:

— Десять сорок семь, прибыл молочник.

Я исправно заношу эти данные в журнал.

— Десять сорок восемь, молочник уезжает.

Когда тележка с бутылками скрывается из виду, из дома номер тринадцать выходит Норман Стотт, в руках у него совок и погромыхивающее ведро. Хмуро бормоча что-то себе под нос, он быстро минует пост и исчезает из нашего поля зрения. Слышно, как совок скребет по гравию. Мы не глядя понимаем, чем он занят.

Собирает «конские яблоки». К моему смущению, по какой-то странной, одному ему известной причине именно так мой отец называет лошадиный навоз.

Некоторое разнообразие на минуту вносит миссис Макафи из дома номер восемь: держа в руках какой-то предмет, она неторопливо идет по улице к дому номер тринадцать. Это уже интересно. Стотты не принадлежат к людям, с которыми знаются Макафи. Дверь открывает миссис Стотт. Они разговаривают… Миссис Макафи протягивает миссис Стотт то, что она принесла… Кит прижимает к глазам бинокль.

— Садовые ножницы, — шепотом сообщает он.

— В журнал заносить? — шепотом спрашиваю я. Он отрицательно мотает головой.

Трижды в час раздается приглушенный шум идущей из города электрички. Через выемку позади дома Макафи электричка въезжает на насыпь позади Хейуардов, грохочет над тоннелем, в который упирается проулок за домом Шелдонов, и у станции замедляет ход. Трижды в час раздается шум идущего в город поезда; отойдя от станции, он медленно набирает ход, грохочет над тоннелем, с трудом въезжает на высокую насыпь и исчезает в выемке.

Собака Стоттов гонится за котом Хардиментов, потом в нерешительности останавливается перед наблюдательным постом и долго смотрит на нас, озадаченно, но с надеждой виляя хвостом. Это дворняга с белесой шерстью и большим пятном на спине; оно бросается в глаза, как опознавательный знак на крыле самолета. Такое внимание пса к определенному местечку в зарослях наверняка выдаст нас с головой не только всем жителям Тупика, но и любому пролетающему мимо вражескому пилоту.

Наконец барбос теряет к нам интерес. Зевнув, поднимает лапу и, оставив на кустах перед нами свою метку, уходит кататься в дорожной пыли. Даже поскребки конского навоза вызывают у него больше любопытства, чем мы.

Очень может быть, что в домах на нашей стороне улицы сейчас совершаются важные события, но эти дома нам не видны. А на противоположной стороне после взбудоражившего нас обхода молочника больше не происходит ничего — ни у дома Кита, ни у Шелдонов и тети Ди, ни у Стоттов, ни у Макафи…

Правда, мы замечаем кое-что у дома мистера Горта и в «Тревиннике». Мистер Горт выходит из парадной двери, несколько секунд стоит в нерешительности на тротуаре и возвращается в дом. В «Тревиннике», наполовину скрытом за вечнозеленой изгородью, таинственная рука раздвигает на верхнем этаже шторы, но кому принадлежит эта рука, нам не видно. От дома мистера Горта и, само собой, от «Тревинника» всегда веет чем-то зловещим. Впрочем, если приглядеться, во *всех* этих безмолвных домах есть что-то зловещее. Известно же: чем меньше событий совершается у людей на глазах, тем больше подозрений, что за стенами домов творятся странные дела…

Из-за тучи выходит солнце. И снова скрывается за тучей.

Постепенно странность окружающего рассеивается. Свинцовая скука окутывает улицу. Я отвлекаюсь от наблюдений. Беру бинокль и,

перевернув его, с другого конца смотрю на Кита. Тот выхватывает у меня бинокль.

— Наводку собьешь, — шипит он. — Если тебе скучно, ступай, голубчик, домой.

Голос — в точности как у его отца, и выражение лица такое же.

Мне определенно больше не хочется играть в эту игру. Я сижу на корточках под запыленной листвой, под ногами утоптанная земля, спину колют острые веточки, за шиворот падают гусеницы, а я неотрывно слежу за снующими в пыли муравьями, демонстративно не желая таращиться, как дурак, на пустую улицу. Мне определенно надоело верить всему, что говорит Кит. Надоело, что мной все время командуют.

— И потом, — выпаливаю я, — мой папа тоже немецкий шпион.

Кит молча настраивает бинокль.

— Точно, — говорю я. — Он закрывается с какими-то приезжими и секретничает с ними. А говорят они на иностранном языке. На немецком. Я сам слышал.

Губы Кита изгибаются в легкой пренебрежительной усмешке. Но ведь это правда! Мой отец действительно уединяется с таинственными посетителями, и они на самом деле говорят на

иностранном языке. Я сам слышал! Не исключено, что как раз на немецком. Почему мой отец не может быть немецким шпионом, а мать Кита — может? Она ведь даже ни с кем не говорит на иностранных языках, только делает дурацкие, ничего не значащие пометки в своем дневнике, и больше ничего!

Да, я уйду домой. Я опускаюсь на землю, чтобы выползти из-под кустов.

— Вон *она,* — вдруг шепчет Кит.

Я замираю и невольно всматриваюсь в просвет между листьями. Появилась мать Кита; скорее всего, вышла из двери кухни. На руке у нее корзинка для покупок. Тщательно притворив калитку, миссис Хейуард, как всегда, неторопливо идет по улице. Мы оба, словно загипнотизированные, не сводим с нее глаз. Кит даже забывает про бинокль. Ока проходит «Тревинник», затем дом мистера Горта и открывает калитку тети Ди. Помахав кому-то за окном гостиной, направляется по дорожке к дому, открывает входную дверь и исчезает за ней.

Я машинально поднимаю журнал наблюдений.

— Двенадцать семнадцать, — шепотом диктует Кит.

Я записываю. Нашу скуку как рукой сняло, а с ней исчезло наше взаимное раздражение и мое неверие.

Мы молча таращимся на дом тети Ди. Во мне снова возникает ощущение странности происходящего. Почему тетя Кита живет через три дома от них? Тетки не селятся на одной с вами улице! Они живут за тридевять земель, родня навещает их один, самое большее — два раза в год, а сами они приезжают только на Рождество. Но мать Кита навещает его тетку не два-три раза в год, а *каждый день!* Я пристально смотрю на миндальные деревья, на коричневые доски, которыми обшит верх дома тети Ди, и до меня впервые начинает доходить вся странность отношений между двумя женщинами. Нам, например, приходится ехать навещать тетю Нору или тетю Мел всей семьей. А мать Кита ходит к тете Ди одна. Всегда одна. Каждый день. Неужто у них находится, о чем говорить?

Я вспоминаю снимки, что стоят у матери Кита на письменном столе, и меня впервые осеняет: раз в детском возрасте они были сестрами, значит, они и сейчас сестры. Мысль поразительная. Конечно, моя собственная мать в разговоре с моим отцом иногда называет мою тетю Мел

сестрой, но до сих пор мне в голову не приходило считать взрослых сестер такими же сестрами, как, например, Дидре и Барбара Беррилл. Я пытаюсь представить, как мать Кита и тетя Ди могут ревновать или ябедничать друг на друга… Или шепотом обмениваться секретами…

Какие у них могут быть секреты, ведь они уже взрослые! Может, шушукаются про дядю Питера?

Где он служит и чем занимается — то есть про всякие мелочи, на первый взгляд совершенно безобидные. Но мать Кита сопоставит эти пустячки и в результате разгадает замысел командования тяжёлой авиацией… Возможно, как раз в эту минуту Тетя Ди показывает матери Кита только что полученное письмо от дяди Питера. А он там по неосторожности прямо пишет, что на побывку не приедет и ждет не дождется, чтобы задать наконец жару самому Адольфу Гитлеру в его собственном логове… А когда наша эскадрилья полетит на боевое задание в Берлин, ее там уже будут поджидать самолеты люфтваффе, таинственным образом оповещенные… И самолет дяди Питера собьют первым…

Что, если тетя Ди тоже шпионка? В моем воображении тут же возникает другая картина: вот дядя

Питер все-таки приезжает в отпуск, не спеша, как и прежде, идет по улице, фуражка лихо сдвинута набекрень, вокруг роем вьются ребятишки. Только на этот раз они не пытаются потрогать китель героя, не просят дать примерить фуражку. Они кричат, что тетю Ди забрали: ее разоблачили как шпионку и посадили в тюрьму. А где же их маленькая дочурка Милли? Всеми покинутая, она сидит одна-одинешенька в большой комнате и горько плачет… Горло у меня перехватывает — до того мне жалко дядю Питера, до того жалко Милли.

Дверь дома тети Ди открывается, выходит мать Кита. Тетя Ди стоит на пороге, прижав к губам ладони, будто собирается послать воздушный поцелуй, и без улыбки смотрит вслед сестре, а та, закрыв за собой калитку, направляется с корзинкой к углу улицы. Опять идет в магазин за покупками для тети Ди.

— Время? — шепотом спрашиваю я, поспешно хватая журнал наблюдений.

Тетя Ди прикрывает входную дверь, так и не послав никому воздушного поцелуя.

Но Киту не до журнала, он уже торопливо ползет прочь. Я изо всех сил стараюсь не отставать. Мы пойдем к магазинам следом за его матерью.

Когда мы вылезаем из кустов, ее уже не видно, она свернула за угол дома Хардиметов. Мы бежим туда же и осторожно выглядываем из-за живой изгороди.

Но нашего объекта и след простыл: мать Кита словно испарилась.

В конце Тупика идти можно только в одну сторону — налево, потому что направо вместо нормальной дороги сразу начинается кочковатая тропа; сквозь мелколесье она ныряет в темный заброшенный тоннель. Над ним-то так грозно и грохочут поезда. А налево уходит длинная прямая Аллея, обсаженная цветущими вишневыми деревцами. Она ведет на главную торговую улицу; туда и направляется мать Кита.

Аллея сильно отличается от Тупика. На первый взгляд дома вроде бы точно такие же, однако там сразу понимаешь, что это чужая земля, здесь начинается большой неведомый мир. В нескольких ярдах от угла натыкаешься на «Вклад в оборону» — баки, куда жители окрестных домов сбрасывают пищевые отходы для свиней; вокруг баков зловонное месиво. В дальнем конце Аллеи, на пересечении с главной улицей, стоит большой почтовый ящик, куда мать Кита опускает свои бесчисленные подозрительные послания. А сразу

за углом находится отсюда не видимая вереница магазинов, куда она так часто ходит, и автобусная остановка, где я обычно жду четыреста девятнадцатый автобус, на котором езжу в школу. Дальше — станция «Рай», там отец каждое утро садится на поезд; потом военный завод, с которого мистер Стибрин стибривает все, что плохо лежит; поле для гольфа, на которое в темноте садятся немецкие самолеты…

Прямая как стрела Аллея сейчас пуста и просматривается насквозь, от баков для свиней на нашем конце и до почтового ящика на противоположном. На правой стороне посыльный от Хакналла доставляет мясо в дом, расположенный как раз на полпути к почтовому ящику. На тротуаре слева двое мальчишек, с которыми я часто встречаюсь в очереди на автобус, дразнят маленького белого щенка — от здешних пацанов другого и ждать не приходится. Но мать Кита пропала бесследно. Выходит, за то время, что мы пробежали пол-Тупика, она успела дойти аж до главной улицы.

Мы очертя голову бросаемся вдогонку. Изрядно запыхавшись, добегаем до дальнего угла. Прячемся за почтовый ящик и оттуда внимательно разглядываем торговые ряды. Всюду велосипеды,

детские коляски, люди. Четыреста девятнадцатый подкатывает к остановке, с него сходят две пожилые дамы, потом садятся трое ребят с купальниками в руках… Я шарю глазами по Аллее, силясь углядеть знакомый силуэт… Но напрасно. Мы оба смотрим на отходящую от главной улицы гужевую, изрытую колесами дорогу, что ведет к станции «Рай»… Никого. Мы крадучись обходим почтовый ящик и во все глаза глядим направо, в сторону станции и поля для гольфа… Тоже никого.

Скорее всего, она уже зашла в какой-то магазин.

— Обойди все лавки на этой стороне, — командует Кит, — а я пробегу по тем, что напротив. Да смотри, чтоб она тебя не заметила.

Я юркаю из одной знакомой двери в другую. Булочная Корта, от запаха теплых глазированных булочек у меня сразу текут слюнки, но матери Кита нет как нет… Магазин Коппардов, здесь тоже пахнет замечательно, только совсем по-другому: книгами и карандашами, конфетами и газетами. Миссис Хардимент просматривает романы, которые за небольшую плату выдаются на дом. Но миссис Хейуард здесь не видно… Возле зеленной лавки очередь. А вдруг мать Кита тоже

стоит в очереди и внезапно обернется? Что мне делать, чтобы она меня не заметила? Не знаю… Но в очереди ее нет. В мясной магазин Хакналлов, естественно, тоже очередь… Но матери Кита и тут нет… Вот магазинчик Уэйнрайтов, сюда я изредка хожу вместе с Китом, чтобы помочь ему дотащить до дому пакеты с куриным кормом… Тротуар заставлен открытыми мешками с зерном и костной мукой, иэ-эа них трудно заглянуть в тесную, темную, пропахшую чем-то кислым лавку, но я сомневаюсь, что *она* здесь…

Нет ее ни в аптеке, ни в мануфактурной лавке, ни в одном из магазинов, которые обшаривал Кит. Исчезла напрочь. Мы медленно бредем по Аллее назад, пытаясь разобраться, что же все-таки произошло. Корзина для покупок нужна только для маскировки, считает Кит. На самом деле его мать шла на очередную шпионскую встречу. Но куда?

— Наверное, в один из домов на Аллее, — высказываю предположение я.

На первый взгляд моя догадка кажется логичной. Но стоит взглянуть на дома, и сразу становится ясно, что тамошние обитатели не принадлежат к кругу людей, с которыми знаются родители Кита. Трудно себе представить его

мать у любой из этих дверей, даже по самому неотложному и страшному делу. Кит никак не откликается.

— А если люк?.. — бормочет он, когда мы шагаем мимо металлической крышки в заклепках, что лежит на земле возле баков для свиней.

Это, конечно, куда более вероятный вариант. Под крышкой может быть спуск в один из тайных подземных ходов, которых в нашей округе полным-полно. В этом случае остается только гадать, где его мать сейчас находится — на поле для гольфа, в заброшенном карьере или на каком-нибудь Богом забытом сельском хуторе, где окна наглухо закрыты ставнями, а вокруг гремят цепями сторожевые псы…

Однако секунду спустя выясняется *ее* истинное местонахождение, гораздо более прозаичное, чем мы думали. Но куда более удивительное.

Оказывается, она уже у тети Ди.

Мы идем мимо дома тети Кита, дверь вдруг отворяется, и появляется мать Кита с корзинкой в руках. У меня по спине бегут мурашки — как в тот раз, когда мы наткнулись на тайные знаки в ее дневнике. Разве такое возможно?! Мы еще не успели пробежать весь Тупик, а она уже очутилась в торговых рядах! А потом в мгновенье ока;

вернулась обратно. Или же нас отбросило назад в прошлое, и последних пятнадцати минут, или около того, как не бывало. И опять тетя Ди, стоя на пороге, смотрит сестре вслед. Мать Кита опять притворяет за собой калитку. Правда, на этот раз она поворачивает не к магазинам, а к дому, но, заметив нас с Китом, останавливается.

— Ну, чем вы тут занимались все утро? — приветливо интересуется она.

Мы дружно шагаем по улице; тетя Ди, помахав нам рукой, скрывается за дверью.

— Играли, — отвечает Кит.

Я по голосу слышу, что он потрясен не меньше моего.

Его мать тоже чует неладное. Она внимательно смотрит на нас.

— О господи, опять у вас обоих какой-то странный вид, — замечает она. — Наверное, происходят некие загадочные события? Что-то такое, во что меня нельзя посвящать?

Мы не отвечаем. Вероятно, можно было просто спросить ее, куда она ходила, но мысль эта, очевидно, не приходит в голову ни Киту, ни мне. Окружающий мир стал похож на сон — знаете, когда кажется, что все это уже было. Или же ее появление из сестриного дома пятнадцать минут

назад нам просто-напросто примерещилось…

— Во всяком случае, друзья мои, — продолжает она, — что бы вы там ни задумали, занятие это вам придется отложить, потому что пора обедать.

Что было бы страшнее: жить во сне или в той реальной истории, которая почти вытеснила из нашей памяти все прочие впечатления детства?

Изо дня в день мы сидим в нашем тайнике, во всех подробностях разбираем случившееся и готовимся возобновить слежку. Очень может быть, что тайный ход под люком имеет ответвление, ведущее к дому тети Ди. А еще может быть, что мать Кита знает лазейку из сада Хардиментов, который тянется вдоль Аллеи, и потом, пройдя задами нашего садика и сада Стибринов, выходит на улицу уже через сад покойной мисс Даррант, предварительно выманив нас из укрытия.

Мы поднимаем крышку люка. Внизу действительно виден тайный ход, только шириной он не более одного-двух футов и вонь идет оттуда нестерпимая. В заборе за садом Хардиментов мы находим расшатавшуюся доску и пытаемся ее отогнуть, но образовавшаяся дыра все равно узка, ни Киту, ни мне сквозь нее не протиснуться; вдобавок по ту сторону забора высится пирамида из стеклянных колпаков, которыми прикрывают

рассаду.

Выхода нет; остается только следить и ждать, пока мать Кита не появится снова.

Что же мы видим со своей выгодной позиции? Может, нам чудится, что видим, или мы воображаем, что видим, или позже придумываем, что будто бы помним, как видели?

Да-да, видим полицейского. Он медленно катит на велосипеде по улице, то появляясь в прогалах между листьями, то скрываясь из виду… Нет, полицейский был раньше, до начала этой истории… С другой стороны, едва ли он приехал бы до того, как миссис Беррилл заметила незваного чужака… А может, полицейских было два, один раньше, другой позже, но в моей памяти они слились в один образ?

А теперь сквозь пышную листву я вижу дядю Питера; он приехал на побывку и, улыбающийся и счастливый, стоит возле своего дома, окруженный детьми нашего Тупика, и его синюю форму засыпают, словно хлопья снега, розовые лепестки цветущего миндаля. Отчего-то засмущавшись, ребята во все глаза молча смотрят на дядю Питера, исполненные обожания мордахи отражаются в каждой начищенной пуговице его кителя. Вышитый на фуражке орел, увенчанный

золотой с алым короной, гордо поднял голову и покровительственно распахнул крылья над Норманом и бедняжкой Эдди, над близняшками Джист, над Роджером и Элизабет Хардимент, над братьями Эйвери и сестрами Беррилл, даже над моим братом Джеффом…

Нет, это тоже было *раньше.* Наверняка раньше, раз цвел миндаль. И мы с Китом вовсе не наблюдаем происходящее из укрытия, мы там, вместе с ватагой ребят; в золотистом блеске пуговиц наши лица тоже преобразились, под надменным взглядом орла в них проступает гордость…

А может, мы дядю Питера на самом деле не видали, он просто сошел с черно-белой фотографии в серебряной рамке, что стоит на каминной полке у Хейуардов… Но ведь я как сейчас вижу *цвета!* Более яркого воспоминания не припомню за всю мою долгую жизнь. Синий — цвет формы, розовый — миндальных лепестков, да еще два кроваво-красных бархатистых пятнышка в короне над орлом. И звуки как сейчас слышу! Помню его смех, смех Милли, когда он поднял ее на руки и она потянулась к красивой золотой вышивке на его фуражке…

А теперь ночь, в небе вспыхивают оранжевые сполохи, мужчины в стальных касках снуют

среди перепутавшихся шлангов… Но в тот час я стоял на дорожке к калитке, выглядывая из-за отцовской спины, и было это гораздо раньше, перед домом мисс Даррант еще росла ухоженная живая изгородь…

Наконец я с нашего наблюдательного поста явственно, собственными глазами снова вижу мать Кита.

Я сижу в укрытии один. Наверное, Киту пришлось остаться дома, чтобы помочь отцу мастерить пристройку к курятнику. И тут вдруг появляется его мать, аккуратно притворяет за собой садовую калитку и идет по улице неторопливо и уверенно — в точности, как раньше. Мимо «Тревинника» и дома мистера Горта… к тете Ди…

Я открываю журнал наблюдений. «Семнадцать ноль-ноль, — наугад пишу я, поскольку часы вместе с Китом сейчас в курятнике. — Входит в…»

Но она уже опять выходит. Закрывает за собой дверь и идет по дорожке к калитке, только не с корзинкой, а с письмом в руке. Собирается отправить его по просьбе тети Ди.

Я торопливо выкарабкиваюсь из-под кустов, от волнения руки и ноги меня не слушаются. Я, я разгадаю тайну!

Когда наконец я вылезаю на тротуар, мать Кита

уже опять свернула за дом Хардиментов и исчезла. Я несусь вслед к углу, с такой скоростью я еще в жизни не бегал.

И опять передо мной лежит прямая как стрела Аллея, она пуста и просматривается насквозь, от баков для свиней на нашем конце и до почтового ящика на противоположном.

На этот раз я не бросаюсь опрометью за матерью Кита, я останавливаюсь и принимаюсь размышлять. У меня ушло не более чем — сколько? — десять секунд, чтобы домчать до угла. Не могла же она за десять секунд добраться до почтового ящика, даже если бежала бегом. И я ни за что не поверю, что за это время она успела открыть крышку люка, не говоря уж о том, чтобы спуститься и закрыть за собой вход в колодец. И, безусловно, не смогла бы протиснуться сквозь дыру в заборе Хардиментов.

Стало быть, она *наверняка* в одном из домов — больше ей деться некуда. Я делаю еще одну попытку рассуждать здраво: я выбежал из четвертого дома в Тупике, значит, и она вряд ли могла пройти по Аллее больше четырех домов. Я внимательно вглядываюсь в дома по обе стороны Аллеи, медленно прохожу пять-шесть зданий. Мне и самому не ясно, что я там рассчитываю

увидеть. Может, в каком-нибудь окне промелькнет *она*... Или я замечу соглядатая, следящего за всеми прохожими... или спрятанную за дымовой трубой антенну коротковолнового радиопередатчика...

Ничегошеньки. От всех домов веет одинаковой унылой, не сулящей ничего интересного заурядностью. Мать Кита может оказаться в любом.

Я снова тщательно обдумываю ситуацию. В каком бы доме она ни была, рано или поздно ей придется из него выйти. Значит, мне надо только затаиться где-нибудь неподалеку и ждать.

Ни на миг не спуская глаз с Аллеи, я медленно пячусь к углу Тупика. Даже если мне придется просидеть тут до ночи, я приложу все силы, чтобы она больше не проскользнула незамеченной к тете Ди и не вышла потом оттуда, словно мираж, — как в прошлый раз.

Когда я медленно отступаю за изгородь Хардиметов, меня охватывает странное, недоброе предчувствие; я оборачиваюсь и бросаю взгляд на Тупик. Вон она! Тот же мираж — стоит вполоборота на пороге дома тети Ди, прощается с провожающей ее сестрой. И опять тетя Ди смотрит ей вслед, а она, уходя, опять притворяет за собой калитку.

Земля опять уходит у меня из-под ног.

Я стою как громом пораженный, глядя, как она возвращается по Тупику к своему дому. Тут до меня доходит, что письма у нее в руке больше нет. Значит, она не только совершила прыжок во времени назад, в прошлое, она одновременно совершила прыжок в пространстве вперед, к почтовому ящику.

Может быть, мы с Китом сплели вовсе не шпионскую историю, а сказку с привидениями. И сами в ней запутались.

* * *

В следующий раз это происходит, когда Кит сидит рядом со мной и мы так старательно наблюдаем за его домом, что замечаем ее в ту самую минуту, когда она появляется из двери. Отец Кита работает в палисаднике. Остановившись возле мужа, она что-то говорит ему, потом выходит за калитку, тщательно прикрывает ее и неторопливо и уверенно идет по улице все с той же корзинкой для покупок.

Заходит в дом тети Ди. Припав к земле, готовые немедленно рвануть с места, мы ждем. На этот раз мы намерены выскочить из укрытия еще до того, как она свернет за угол. Хотим оказаться на углу,

прежде чем она успеет дойти хотя бы до люка.

— Может, у нее какая-нибудь штуковина вроде ракеты? — шепотом гадаю я.

Кит не отзывается. Во-первых, я уже не раз поверял ему свои предположения. А во-вторых, он очень недоволен, что последний таинственный эпизод произошел со мной в его отсутствие.

Мы ждем. От неудобной позы у меня болят коленки. Я пытаюсь переминаться с одной ноги на другую.

— Или машина какая-нибудь, — в пятый раз смущенно бормочу я.

Кит приспускает веки. Все ясно. Теории, которые не могут обойтись без тайных ходов, ракет, путешествий во времени и тому подобных явлений, должны для вящей убедительности излагаться Китом, а не мной.

Вон она, выходит из дома тети Ди с корзиной для покупок. Мы поспешно ползем из тайника, мелкие ветки царапают лицо, сандалии Кита скребут землю перед моим носом, давят мне пальцы… Вот мы уже на тротуаре и, соблюдая дистанцию шагов в двадцать, на удивление бесшумно следуем за ней до угла…

Она нас не заметила. Мы сворачиваем за угол, почти ни на миг не теряя ее из виду…

Она уже идет мимо баков для свиней. Мы останавливаемся и смотрим ей вслед, не решаясь двинуться дальше, не решаясь вздохнуть или моргнуть. Надо же собственными глазами увидеть этот фокус от начала до конца! Она идет себе и идет, так же неспешно, так же уверенно. Уходит дальше и дальше. Постепенно становясь все меньше и меньше…

Мимо почтового ящика в конце… за угол…

К магазинам, как все прочие местные жители.

Дни идут, ничего нового не происходит. Уроки в школе, опять уроки и опять; непременные стычки с Джеффом да изредка долгие часы нудной бесплодной слежки.

Как-то вечером, сидя в засаде, мы видим, как мать Кита выходит на улицу с письмами в руках. Не заходя к тете Ди, минует ее дом. Мы, не спуская глаз с объекта наблюдения, мчимся на угол… *Она* не спеша подходит к почтовому ящику и спокойно опускает в него письма. В другой день — наверное, это была суббота — она выходит из дому с корзинкой для покупок, сворачивает к сестре… и появляется вновь вместе с тетей Ди и Милли, сидящей в прогулочной коляске. Мы бежим к углу… Вон они, самым непримечательным образом удаляются по Аллее.

Однажды мы даже крадемся за ней из магазина в магазин. Видим, как она стоит в очереди в зеленной, как заходит в булочную и к мануфактурщику, идем за ней по пятам обратно в Тупик. Никаких признаков ракеты или машины времени не заметно.

Идет дождь, и мать Кита не пускает сына гулять. Дождь прекращается, и мы без всякой охоты, зевая и пререкаясь, сидим под мокрыми кустами. Мне ясно, что Кит уже не верит моему отчету о том, как его мать непостижимым образом испарилась во второй раз, хотя прямо он ничего такого не говорит. Я сам уже сомневаюсь, что видел это своими глазами. Да и первое исчезновение, которому мы были свидетелями, постепенно отошло в ту область прошлого, где загадочные события уже не удивляют и не требуют безотлагательной разгадки. Мы начинаем воспринимать его как нечто само собой разумеющееся, вроде чуда с хлебами и рыбами или того куста, что горел огнем, но остался неопален.

Иксы и восклицательные знаки тоже ушли во мглу прошлого. Превратились в руны какого-то древнего текста. Поскольку в военные годы летние каникулы стали чуть ли не вдвое длиннее, солнце садится все позже, когда нам давно уже

пора спать, и само понятие ночи теперь кажется таким же далеким, как темное Средневековье, а фазы луны — не менее отвлеченным предметом, чем по́дать и десятина.

А хуже всего то, что нам неожиданно приходится защищаться от непрошеных гостей. Однажды вечером в густой листве, окутывающей наше укрытие, появляются два карих глаза и широкая насмешливая улыбка. Барбара Беррилл.

— Вы тут все время играете вдвоем, — говорит она. — Что у вас здесь, военная база?

Я смотрю на Кита. Веки у него опускаются, на лице мелькает отцовская гримаса отвращения. Он не отвечает. Он вообще почти не разговаривает с другими детьми из Тупика, никогда не общается с девочками и уж тем более с Барбарой Беррилл. Я чувствую, что мои веки тоже чуточку приспускаются. Я тоже не отвечаю. Меня уязвило ее унизительное для нас предположение, что мы всего лишь «играем в военную базу», а не сидим в дозоре.

— И во что это вы играете? — спрашивает она. — Шпионите за кем-то?

Кит молчит. Я тоже молчу, но сердце у меня падает. Мы-то думали, что действуем под надежным щитом незримости, а выходит, щит наш

давно пробит, тайные цели раскрыты. И кем? Какой-то Барбарой Беррилл! Она ставит себя выше нас только потому, что на год старше, но она же ничем не лучше, она и внимания нашего не заслуживает. Все в ней такое мягкое, девчачье. Большие карие глаза, круглое лицо, шлем подстриженных под горшок кудрей, падающих ей на щеки. Летнее школьное платье в сине-белую клетку, с маленькими пышными рукавчиками. Беленькие летние носочки. А больше всего почему-то раздражает висящий у нее на шее чисто девчачий кошелек: в нем она каждый день приносит в школу деньги на автобус и молоко. Он и сейчас на ней болтается. Зачем? Мы же вот с Китом не надели свои школьные фуражки и ранцы. Почему девчонки совсем не такие, как мы?

— И за кем?, — спрашивает она. — Неужели все еще за мистером Гортом?!

Кто бы говорил! А она, что ли, не шпионит за нами? И как она пронюхала про мистера Горта? Значит, уже давным-давно шпионит…

— Ну, выкладывайте! — командует Барбара. — Я никому не проболтаюсь.

Мы с Китом, не поднимая глаз от земли, упрямо молчим.

— Раз вы ничего не говорите, значит, вы *взя-*

правду шпионите… Ладно, тогда я всем про вас расскажу.

Карие глаза исчезают.

— А Кит Хейуард и Стивен Уитли шпионят за взрослыми! — громко произносит Барбара.

Слышит кто-нибудь это ее заявление или нет, нам неведомо. Она отходит подальше и снова повторяет свой донос. Помертвев от позора, мы с Китом прячем друг от друга глаза. Теперь мне ясно как божий день, что исчезновения, тайные пометы в дневнике и прочее — все это, как всегда, понарошку, не более чем игра. Даже Киту это ясно. Значит, нам остается только выйти из засады и без лишнего шума разойтись по домам.

Однако мы без слов понимаем и другое: прежде чем вылезать из укрытия, необходимо убедиться, что Барбара Беррилл ушла и не станет свидетелем нашего унижения. Поэтому мы сидим и ждем. Ждем долго, потому что с дальнего конца Тупика доносится ее смех: она потешается над чем-то вместе с братьями Эйвери. Над нами небось.

Тени становятся длиннее. Если я не вернусь домой до восьми часов, мне не миновать жуткого нагоняя. А Киту — порки.

Мы сидим, опустив головы, и прислушиваемся. Легкие торопливые шаги. Мы отрываем глаза от

земли. Барбара Беррилл возвращается.

Но это не Барбара. Это мать Кита. На плечи наброшена кофта, руки скрещены на груди; она явно торопится, почти бежит в сторону заходящего солнца. Быстро семенит по дорожке к дому тети Ди, почти сразу выбегает и быстро семенит к углу Тупика. Но к этому моменту мы уже опомнились и тоже домчались до угла… Залитая золотистым светом улица совершенно пуста, до самого почтового ящика в другом конце.

Охота продолжается.

Но теперь мы теряемся в догадках, как и где еще ее искать, ведь все уже испробовано. Бежим к люку, потом к расшатавшейся доске в заборе. Без всякой надежды на успех заглядываем в дома и сады.

Нигде никакого следа. Куда же она подевалась?

Мы опять возбужденно перешептываемся, но тревога и растерянность нарастают. Нам ясно, что час уже поздний, дело идет к ночи. Хочешь не хочешь, а обоим пора идти домой. Я, конечно, уже предвижу, что именно сейчас произойдет. Как только мы подойдем к Тупику, *она* снова, как ни в чем не бывало, выйдет из дома сестры, будто мы опять оказались в самом начале вечера и все

еще впереди.

И действительно, с неотвратимостью ночного кошмара *она* появляется, но на этот раз в чуть более дальней точке времени и пространства — выходит из дома Хейуардов ровно в том же виде, что и раньше, в той же накинутой на плечи кофте. И кровь опять стынет у меня в жилах от этой непонятной жути.

— Во что вы, золотко мое, все-таки играете? — обращается *она* к Киту.

Тон у нее спокойный, но голос чуть резче обычного; вдобавок она то и дело нетерпеливо приглаживает волосы, хлопает зачем-то по прикрытому кофтой плечу, и я догадываюсь, что на этот раз она всерьез рассержена на сына.

— Ты ведь прекрасно знаешь правила. Знаешь, когда тебе положено быть дома. Если же вздумаешь вести себя, как малый ребенок, папочка будет обращаться с тобой, как с малым ребенком.

Внешне весь ее гнев направлен на собственные волосы и плечо. Она продолжает приглаживать и хлопать, хлопать и приглаживать, словно бессознательно изображая наказание, которое ждет Кита. Они поворачивают к дому. Ни разу не взглянув на меня.

Напоследок я успеваю заметить, что она трет

друг о друга ладони. Скорее всего, приглаживая волосы и хлопая по плечу, она пыталась что-то с них стряхнуть. Теперь же это «что-то», видимо, прилипло к рукам, и счистить его не просто.

И тут меня осеняет. Вещество это вовсе не липкое. Оно *противное, грязное.*

И еще меня осеняет. Я догадываюсь, куда именно она девалась всякий раз, когда исчезала.

Я вздрагиваю. Крошечные пометы в дневнике — взаправдашние. Наступают безлунные ночи, и все будет куда страшнее, чем мы думали.

5

Все как прежде; и все переменилось. Дома стоят, где стояли, но уже не говорят того, что говорили раньше. Лиственные деревья и кусты, каждую весну одевавшиеся в зеленый наряд, давно выкорчеваны, земля заасфальтирована. А Стивен Уитли сделался стариком — неужто это я? Да, тот низкорослый, лопоухий мальчик, который разинув рот следовал по пятам за своим могущественным другом, свято веря в очередную его таинственную затею, превратился в нынешнего низкорослого лопоухого пенсионера, медленно и опасливо бредущего по следу прежнего Стивена; теперь ему осталось разгадать одну-единственную загадку.

Сквозь вереницу лет старик смотрит на знакомую местность, и ему в голову приходит удивительная мысль: а ведь в те времена все вокруг было *новым.* Эти дома, переулки, почтовый ящик на углу, торговые ряды на главной улице вряд ли появились на земле задолго до самого Стивена. Весь поселок, наподобие потемкинской деревни, был собран на скорую руку чуть ли не

накануне того, как сюда приехало семейство Уитли, но для Стивена он стал старинной, раз и навсегда ему данной родиной.

Железнодорожная сеть росла, и по ветке, пролегшей через выемку позади дома Макафи и дальше по насыпи за домом Хейуардов, по той самой ветке я сегодня сюда и приехал. А тогда, с прицелом на прекрасное будущее, вокруг маленького деревянного полустанка проложили несколько ухабистых дорог; жители окрестных сел, пробавлявшиеся разными случайными строительными подрядами, купили здесь участки земли и на грубый деревенский лад соорудили себе из необожженного кирпича и деревянных балок по дому своей мечты. В выходные на полустанке высадились на денек несколько юных парочек, огляделись… внесли задаток… Потом заказали мебель для трех комнат и посадили саженцы бирючины и черной бузины… Вскоре им понадобилась писчая бумага и тесьма для штор… Расторопные лавочники немедля открыли в новых Торговых рядах магазины со всем необходимым товаром. Автобус еще не пустили, но на месте будущей автобусной остановки был вбит в землю столб. Затем появился объемистый почтовый ящик, чтобы жители нового поселка

опускали туда письма тем, кто остался на бывшей родине. Взялись и за грязные грунтовые дороги: провели дренажные работы, залили полотно гудроном и насыпали слои гравия. Теперь жены, отправляясь за покупками, могли спокойно брать с собой детей в колясках на высоких рессорах, не опасаясь разбудить малышей на первом же ухабе, а мужья могли ходить по утрам на станцию и вечером обратно домой, не замочив ног и не запачкав хороших башмаков. Живая зеленая изгородь, которая росла вместе со Стивеном и была едва ли старше его брата Джеффа, смягчала зрелище развороченной земли и голых кирпичных стен на строительных участках.

И сегодня, глядя на это словно бы невесть откуда взявшееся поселение, я вот о чем размышляю: а ведь выросло оно не в глухой пустыне. Приходилось акр за акром расчищать для него пространство в давно обжитом уголке. Выкраивать участки, урезая мелких фермеров, поставлявших в город овощи, урезая яблоневые и вишневые сады, луга, на которых от века пасли лошадей. На месте приземистых деревянных домишек, где ютились сельскохозяйственные рабочие, вы-

росли новые Сорренто и Уиндермеры[3]. Вместо путаницы переулков и дорожек, которыми пахари шли на поля, а возчики ездили на повозках, пролегли прямые, усыпанные гравием улицы.

А за пределами этих упорядоченных улиц, на клочках земли, что еще оставались между новым поселком и прочими, возникавшими вокруг станций на разных железнодорожных ветках, текла прежняя жизнь. И не надо было далеко ходить, чтобы ее увидеть. Дорога на поле для гольфа вела мимо заброшенных карьеров и отвалов, где обитатели домишек брали глину для кирпича на фундаменты и каминные трубы, да известку для раствора, на который клали кирпич. По ту сторону главной улицы, сразу за магазинами, и располагался «Рай» — беспорядочное скопление мелких грязных участков; наши соседи ходили туда, чтобы сверх военного пайка купить к Рождеству яиц или петуха. Тот «Рай» теперь превратился в «Рай-комплекс» с дорогими верховыми лошадьми и всем необходимым для охоты и прочих подобных развлечений. К комплексу ведет частная, прекрасно вымощенная подъездная дорога. А тогда в дождливую погоду дорогу

[3] Примечания: 3

Уиндермер — город на одноименном озере в живописном Озерном крае на северо-западе Англии.

так развозило, что ноги, бывало, не вытащишь. Со строны нашего Тупика вдоль главной улицы шел еще один переулок; его замостили и превратили в Аллею. Раньше, если пройти весь Тупик и, не сворачивая налево к магазинам, посмотреть направо, то было видно продолжение Аллеи: она выныривала, как ручей из водоотводной трубы. В нескольких ярдах от угла новенькая, засыпанная гравием дорога исчезала, переходя в старый грязный проулок, тянувшийся терпеливо, но из последних сил. Пользоваться им к тому времени уже перестали, и его почти поглотил разросшийся на обочинах подлесок. Мощеная дорога обрывалась, потому что она уже никуда не вела: дальше домов не было. Наш поселок тут кончался, границей ему служила железнодорожная насыпь.

В насыпи, однако же, можно было разглядеть низкую кирпичную арку — нечто вроде заброшенной потайной двери в крепостной стене средневекового города. Под аркой шел узкий тоннель, скрепя сердце построенный железнодорожной компанией, чтобы не лишать местных жителей искони проложенной законной дороги. В эту неприметную дыру и нырял исподтишка грязный проулок, направляясь в еще не тронутые

новомодной застройкой окрестности.

Я иду по Тупику до угла и гляжу направо. Оказывается, Аллею уже привели в божеский вид. Прямая, как стрела, с ровными чистенькими тротуарами, она уходит под высокий и широкий железнодорожный мост. Я бреду по тротуару под мостом. Дальше Аллея разветвляется, образуя лабиринт из Бульваров, Скверов и серповидных Переулков. Весь район теперь выглядит почти таким же респектабельным, как и Тупик.

Знакомый нынешний мир дотянулся-таки до своего допотопного предшественника и запечатал его под безупречно проложенной и ярко освещенной мостовой. Свет заливает всю Аллею, от начала до конца, не оставив места населенной призраками тьме.

Под чистым стальным мостом я иду обратно по чистому серому асфальту к углу Тупика. За спиной возникает знакомый стук колес идущей из города электрички: выползая из выемки позади дома Макафи, она взбирается на насыпь позади дома Хейуардов. Когда поезд идет по мосту, звук, как и раньше, меняется… И в ушах у меня снова оглушительно рокочет пустота старого кирпичного прохода, над которым громыхает состав, звенят крики Кита со Стивеном, долго пе-

рекатывающиеся по узкому длинному тоннелю: во время каждой редкой вылазки в его непроглядную тьму мальчикам хотелось услышать бесконечное эхо и доказать себе и друг другу, что они не робкого десятка.

Я вновь, пусть и смутно, вижу опасности, подстерегающие нас по ту сторону гулкого и страшного подземного хода. Там, после скромного по масштабам вторжения наших таких знакомых мне улиц и домов, снова берет свое старый мир, совершенно безразличный к новому поселку, будто его и не было никогда на земле. Между собой мы называли этот мир «Закоулки», хотя закоулок был всего один, и до того узенький, что летом он почти тонул в густой тени старых корявых деревьев и в обрамлявшей дорожку тучной зелени живых изгородей. Вижу «Коттеджи» — приземистые развалюхи, едва видные за буйной растительностью, вымахавшей вокруг разбросанных по участкам поломанных детских колясок и ржавых банок из-под краски. Слышу лай бросавшихся на нас уродливых собак, ощущаю на себе взгляды оборванных ребятишек, разглядывающих нас из-за калиток. В нос шибает противный, отдающий кошками запах бузины, разросшейся у заброшенной фермы; порой мы

сквозь заросли видим у развалин старого бродягу — разведя костерок из мелких веток и прутьев, он кипятит над ним закопченный котелок…

За фермой начиналась безлюдная ничейная земля, уже наполовину размеченная под застройку, однако освоение территории подрядчиками из ближнего поселка было приостановлено на время войны. Между железной дорогой и незастроенной пустошью еще сохранились места, где, благодаря переменчивому ходу истории, деревня по-прежнему жила своей старинной замкнутой жизнью. Изредка решаясь опять пробраться в этот непонятный мир, мы воспринимали свое путешествие как опасное приключение, в котором не раз и не два приходится доказывать свою храбрость.

И первым таким испытанием был именно тоннель. Я снова слышу наши неуверенные крики, которые заглушает грохот идущего поверху поезда. Снова далеко впереди вижу кружок неприветливого дневного света и его отражение в огромной луже, скопившейся после дождей у самого выхода. Снова чувствую, как несуразно извиваюсь, обходя лужищу по узенькому карнизу и одновременно стараясь не касаться влажно поблескивающей кирпичной кладки. На плечах

и волосах снова ощущаю покрывающую стены холодную отвратительную испарину и брезгливо стряхиваю ее с себя. Снова пытаюсь стереть с ладоней темно-зеленую слизь.

Выходит, исчезновения матери Кита объясняются очень просто. Она обвела нас вокруг пальца. А письма, с которыми она выходит из дому, и корзина для покупок — лишь маскировка. В конце Тупика *она* вовее не сворачивает налево к почтовому ящику и торговым рядам, а идет направо, к тоннелю. Входит в его мрачное жерло и, лавируя между водой под ногами и влагой на стенах — в точности как мы в наши редкие дерзкие вылазки, — попадает в раскинувшийся дальше старинный мир, где нет ни магазинов, ни почтовых ящиков; в этот мир никто из жителей Тупика, кроме нас с Китом, не решается сунуть нос.

Что же она там делает?

Мы с Китом осторожно, стараясь не касаться спиной осклизлых стен, обходим лужу; скрип камня под башмаком, тихий плеск капающей со свода воды — каждый звук эхом отдается от стен и оглушает нас. Первым, естественно, идет Кит, но я все равно пребываю в страшном волнении, потому что это ведь я все затеял. Вдобавок тоннель меня пугает больше обычного. И хотя,

прежде чем отправиться в рискованное путешествие, мы дождались, пока мать Кита, как всегда, ушла после обеда отдохнуть, я не сомневаюсь, что за спиной вот-вот послышатся ее шаги. То и дело оборачиваюсь посмотреть на далекий кружок дневного света и его отражение в воде: вдруг сейчас там возникнет знакомый силуэт и отрежет путь домой? Тогда нам останется только одно — бежать вперед, в Закоулки, где прячутся в кустах собаки и мальчишки.

Мы выходим из тоннеля и попадаем в теплый сырой полдень. Дорога тонет в густых зарослях высотой в человеческий рост. В воздухе, напоенном душным запахом дикой петрушки, роятся и жужжат мухи. Мы оглядываемся, не зная, с чего начать.

— Может, у нее тут где-то спрятан передатчик, — шепчу я, чувствуя, что обязан выдвигать новые идеи в подкрепление своей главной догадки. — Или даже работает какая-нибудь подпольная лаборатория, на которую она и шпионит.

Кит помалкивает. На мои домыслы он предпочитает реагировать с благоразумной сдержанностью, не позволяя мне забыть, кто по-прежнему является главой нашей экспедиции.

— Вряд ли *она* заходит очень далеко, — спешу

заметить я, пока Кит не приказал нам углубиться во враждебную, полную опасностей территорию.
— Она ведь возвращается почти тотчас же.

Отмахиваясь от лезущих в лицо мух, мы вглядываемся в вязкую грязь и густую растительность, но ничего такого, что имело бы хоть какой-то смысл для нашего расследования, не замечаем — разве только кирпичное жерло тоннеля и подпирающие его стены.

— Она ведет слежку за поездами, — уверенно говорит Кит.

Ну конечно! Это и ежу ясно! Как только Кит произносит эти слова, я просто диву даюсь: как же нам раньше-то не пришла в голову такая простая мысль? Пускай даже одинаковые до зевоты электрички, по утрам увозящие на работу моего папу и множество соседей, а вечером привозящие их обратно, не представляют особого интереса для верховного командования Германии, но ведь не они одни ходят по нашей ветке. Время от времени древние закопченные паровозы тянут по рельсам длинные товарные составы. Сколько раз мы видели платформы, на которых под брезентом ехали танки, пушки и даже истребители; самолеты стояли, сложив крылья, словно вереница усевшихся отдохнуть сверчков. Наметанный глаз

может извлечь из этого зрелища массу ценной информации стратегического значения.

— И *она* ходит через тоннель сюда… — размышляю я вслух нарочито медленно, чтобы Кит, подхватив мою мысль, снова безоговорочно возглавил нашу операцию.

— …Чтобы ее никто не увидел. Наверно, где-то здесь у нее тайник.

Мы осматриваем кирпичную кладку. Подпорные стенки по обе стороны тоннеля идут вверх под тем же уклоном, что и насыпь. У основания каждой стенки на бетонных столбах натянута ржавая проволока и висит покоробленная металлическая табличка, запрещающая приближаться к объекту. С одной стороны тоннеля проволока отошла от столба, ее легко отогнуть. Кит ползет под ограждением, следом ползу я.

По ту сторону проволоки торчат поломанные стебли дикой петрушки, в грязной жиже видны многочисленные следы ног. Кто-то здесь явно побывал до нас, причем совсем недавно. Прищурившись, Кит смотрит на меня. Выражение лица у него очень похоже на отцовское, но на этот раз оно означает, что Кит, как всегда, прав.

— Может, нам лучше вернуться? — шепотом спрашиваю я.

Ведь если она ходит именно сюда, значит, явится опять, и не исключено, что прямо сейчас.

Кит не отвечает. Разглядывая следы и поломанные стебли, он направляется к парапету подпорной стенки; там следы, судя по всему, обрываются.

— Не нужно, чтобы *она* нас здесь увидела, — начинаю я, но Кит уже взбирается на парапет и карабкается по нему на самый верх тоннельного жерла. — Вряд ли *она* заходила так далеко, — замечаю я. — Слишком уж быстро возвращалась обратно.

Кит не обращает на мои слова ни малейшего внимания. Я нехотя взбираюсь на парапет и на дрожащих ногах следую за ним.

С высоты парапета нам уже почти не мешает высокая трава, которой заросла насыпь. Прямо перед нами лежит ровная и чистая железнодорожная колея, обихоженная дорожными рабочими; по обе стороны рельсов — кучи гравия. Вблизи шпалы поражают своими размерами, а рельсовая подушка такая толстая, что рельсы лежат выше наших голов. От полотна тянет запахом нагретого солнцем креозота и мазута.

Стало быть, она приходит сюда и ведет наблюдение… считает… записывает… запоминает…

А потом как-то ухитряется оказаться в Тупике, прежде чем мы вернемся из магазинов. Нет, тут концы с концами не сходятся.

— Может, она здесь не спеша собирает какую-нибудь штуковину? — шепчет Кит. — По частям. Например, бомбу. И подкарауливает поезд особого назначения. Который везет что-то особенное. Самолет новой модели.

А когда поезд проходит… дневнике появляется еще один восклицательный знак.

Вдруг раздается еле слышный вибрирующий металлический звук. Он идет откуда-то прямо перед нами. Это тихонько загудели рельсы, сообщая о приближении поезда.

Мы начинаем спускаться по узкому парапету вниз. Но внезапно замираем. Внизу, под нами, слышатся другие звуки, эхом отдающиеся в тоннеле: шарканье подошв, плеск воды, в которую скатился камень. Кто-то идет по тоннелю сюда.

Она, мне это ясно как день; судя по выражению лица, Киту тоже ясно.

Мгновение мы мешкаем, не зная, что хуже — нос к носу столкнуться с матерью Кита или, невзирая на великий риск, лечь на шпалы у колес мчащегося поезда. Попасть в неловкое положение или пропасть совсем? А то еще и хуже, чем

погибнуть, — попасть в руки полиции, предстать перед судом, быть оштрафованными на сорок шиллингов…

Кит уже отскочил назад, под прикрытие поросли на насыпи, я прыгаю следом, отставая от него всего на фут.

Мы лежим, как два идолопоклонника, от страха упавшие ниц перед спустившимся с небес божеством, а мимо, заслоняя небосвод и вздымая вихри пыли, несутся грозные двухосные тележки… Из-под колес летят снопы искр и сыплются нам на головы… Вагон за вагоном тянется величественная процессия. Когда наконец последний громовой раскат замирает в выемке и мы приподымаемся, чтобы взглянуть вниз, в проулок… Да, *она* там. Стоит, нагнувшись, возле дыры в проволочном ограждении. Нет, подлезать под проволокой она не собирается; выпрямившись, идет назад к тоннелю, а в руке у нее опять письмо, как будто она направляется на почту.

Чем она тут занимается, неизвесто, только все, что ей надо, она уже сделала.

Мы ждем, чтобы шаги в тоннеле затихли совсем, и, даже когда наступает полная тишина, еще немного пережидаем, чтобы унять расходившееся сердце. На подгибающихся ногах

спускаемся по парапету вниз. На этот раз я первым лезу сквозь дыру в ограждении, до того мне не терпится убраться отсюда подальше, прежде чем появятся полицейские или вернется мать Кита; а еще могут прибежать собаки и мальчишки-оборванцы. Что, если они застанут нас здесь?

А Кита, оказывается, сзади нет.

— Кит?.. — негромко окликаю я, стараясь не выдать обуревающего меня страха. — Ты что делаешь? Где ты?

Ответа нет. Скрепя сердце, я лезу сквозь дыру обратно.

У нижнего края парапета, где следы ног обрываются, стоит на коленях Кит и, раздвинув заросли дикой петрушки, внимательно рассматривает что-то возле кирпичной кладки.

— Что там у тебя? — спрашиваю я.

Кит поднимает на меня глаза; на лице у него опять отцовское выражение.

— Что это?

Он молча отворачивается и снова принимается обследовать находку.

Среди грубых жестких стеблей дикой петрушки в размытой дождями впадине возле подпорной стены лежит объемистый жестяной ящик, фута четыре длиной, темно-зеленый, местами поржа-

велый. На крышке выпуклыми, слегка помятыми буквами написано: «Магазин Гамиджей в Хоборне. «Спорт на дому», серия № 4: Набор для крокета».

Мы разглядываем ящик, пытаясь понять его назначение.

— Давай лучше расскажем все мистеру Макафи, — в конце концов предлагаю я.

Мы не отрываем глаз от коробки.

— Или твоему отцу.

Кит кладет на крышку руку.

— Не надо! — вскрикиваю я. — Не трогай!

Но он не отдергивает руки. Она по-прежнему спокойно лежит на крышке: Кит, видимо, еще не решил, продолжать исследование ящика или нет.

— Там же может быть взрывчатка, чтобы пустить под откос поезд! — волнуясь, говорю я. — Или мина-ловушка!

Кит второй рукой берется за крышку и осторожно приподнимает.

Ящик совершенно пуст. Его золотистое нутро сияет, как порожняя рака.

Но нет, на дне лежит какая-то вещица. Кит осторожно вынимает ее: это красный картонный коробок, спереди нарисован белый овал, над ним

— черный кот, в овале надпись: «Крейвен-Эй».

А внутри двадцать сигарет.

Но сигареты ли там? Кит приоткрывает картонный клапан. На нас смотрят двадцать пробковых фильтров. Кит вытягивает содержимое пачки. Каждый из двадцати пробковых фильтров сидит на конце самой настоящей сигареты. Следом из пачки вылезает клочок линованной тетрадной страницы. На нем один-единственный знакомый значок.

X.

Этот одинокий икс преследует меня по ночам.

В долгих мучительных снах я снова и снова вычисляю: каково значение *x*, если *x* = мать К.?.. Икс как неизвестное и иксы в дневнике матери Кита сливаются со знаком умножения и взаимно уничтожаются, так что значение *x* становится еще более загадочным, если *x* = мать К. x январь x февраль x март…

В свою очередь, иксы матери Кита взаимно уничтожаются иксами, которыми моя мама подписывает поздравительные открытки на мой день рождения. Во сне она склоняется надо мной, как в детстве, когда целовала меня на ночь, и ее сморщенные губы тоже образуют *x*. Она все ниже

пригибается ко мне, и я вижу, что это вовсе не моя мама, а мать Кита, и предлагаемый ею *х* и не *х* вовсе, а минус *х:* поцелуй Иуды, предательский поцелуй. Потом она придвигается еще ближе, поцелуи множатся, а она превращается в черную кошку с сигаретной пачки, чернота черной кошки устрашающе пучится, перерастая в темень безлунной ночи.

И что же нам теперь делать? Я в полной растерянности.

На следующий день сразу после школы я залезаю в наше укрытие и жду Кита. Он-то знает, что делать. У него наверняка уже есть план. Смутные, изменчивые сновидения превратятся в знакомые тайные ходы и подземные штабы. Но Кит, однако, не приходит. Наверное, у него много уроков или же ему нужно помочь отцу. И все-таки меня не покидает чувство, что его отсутствие как-то связано с матерью. Вот она склоняется над сыном, чтобы поцеловать его на ночь, ее карие глаза лучатся, губы наморщены, образуя знак *х*…

Надо бы пойти спросить, выйдет Кит играть или нет. Но тут я представляю себе, как его мать склоняется к нему с поцелуем, и мне становится не по себе; почему-то до смерти не хочется даже приближаться к их дому. И я думаю о том, на-

сколько для Кита все это мучительнее, чем для меня. Ведь ему приходится сносить ее поцелуи на ночь. Приходится жить в одном доме с вражеской шпионкой, слушаться ее, есть приготовленную ею пищу, терпеть, когда она мажет йодом порезы и ссадины на его теле, и при всем при том не давать ей ни малейшего повода заподозрить, что ему известно, чем она на самом деле занимается. То есть ежесекундно, с утра до вечера он проходит проверку на силу воли, снова и снова проявляя настоящий героизм.

Раз Кита нет, значит, мне надо идти через тоннель одному. Надо опять заглянуть в железный ящик, посмотреть, лежат ли там еще сигареты. Если они на месте, надо спрятаться где-нибудь рядом и залечь в засаде: вдруг кто-нибудь за ними придет…

Однако я не двигаюсь с места; сижу скрючившись в кустах и делаю вид, что веду, как всегда, наблюдение, а сам жду не дождусь Кита: хоть бы он пришел, его храбрости хватит на двоих. После ночных кошмаров тьма в тоннеле пугает больше прежнего. Я уверен, что у выхода передо мной возникнет *х* — неизвестное, мрачный тип с замаскированным лицом, он направится прямо ко мне из заросших зеленью Закоулков… Или

еще хуже: я услышу за спиной гулко отдающиеся в тоннеле шаги…

Сколько же в жизни вещей, которые мы воспринимаем как своеобразные испытания. Если ты мальчик, мечтающий вырасти настоящим мужчиной, то по десять раз на дню тебе приходится собираться с духом и, делая над собой огромное усилие, демонстрировать отвагу, которой у тебя нет и в помине. По десять раз на дню тебя охватывает ужас при мысли, что ты опять проявишь слабость, трусость, безволие и полную непригодность к высокому званию мужчины. Это похоже на кампанию «Вклад в оборону» — то же вечное напряжение, то же чувство вины, оттого что делаешь слишком мало. Бремя «Вклада в оборону» висело над нами на протяжении всей Войны; та Война и бесконечные экзамены, которые сдаешь все детство, останутся с тобой навсегда.

Я вынимаю из сундучка тетрадь наблюдений. Вот запись, оборванная несколько дней назад: «Семнадцать ноль-ноль. Входит в…» Надо хотя бы закончить фразу и внести в журнал последние данные. Пока я ищу двуцветный карандаш, до меня доносится знакомый шорох, от которого на душе сразу становится легче: под ветками в наше укрытие ползет Кит. Сердце у меня радостно

екает. Теперь все будет хорошо.

Но это не Кит.

— А я знала, что ты тут один играешь, — говорит Барбара Беррилл. — У меня есть секретный способ, как за вами подсматривать.

Опешив от ее вопиющей наглости, я теряю дар речи. А она усаживается на землю и, обхватив коленки руками, насмешливо ухмыляется во весь рот; по всему видно: она чувствует себя легко и непринужденно. На ней летнее школьное платьице с пышными рукавчиками, на груди болтается школьный кошелек из пупырчатой синей кожи, который защелкивается блестящим синим замочком. От пупырчатой кожи и блестящего замочка веет особым, чисто девчачьим самодовольством, которое раздражает меня больше, чем ее непрошеное вторжение.

— Сюда никому хода нет! — выкрикиваю я наконец. — Только мне и Киту!

Она по-прежнему сидит и как ни в чем не бывало ухмыляется:

— А ты ведь не заметил, что я за тобой слежу, правда?

— Нет, заметил.

— А вот и не заметил.

— Слушай, посторонним сюда ходить нельзя.

Это частное владение.

— Никакое не частное. Это сад мисс Даррант, а она умерла. Зайти сюда может любой, кому вздумается.

Я тычу пальцем в табличку, мимо которой Барбара только что проползла:

— Ты что, читать не умеешь?

Она оборачивается:

— А что такое «Баз. Фход васприщен»?

— «База. Вход воспрещен»:

— Здесь написано «Баз. Фход васприщен».

Я корчусь от стыда за Кита и тупо повторяю:

— Написано «База. Вход воспрещен».

— Неправда. И потом, очень глупо писать про баз; всякому и без слов видно, что это баз.

— Сама ты глупая, талдычишь какую-то чушь.

— Это «баз», по-твоему, чушь? — спрашивает она и, опустив подбородок на колени, внимательно смотрит на меня.

До нее только теперь дошло, что мое невежество отнюдь не ограничивается орфографической безграмотностью.

Но и я уже начеку. Стало быть, слово «баз» что-то такое значит…

— Выходит, ты не знаешь, что такое «баз»? — тихонько спрашивает Барбара.

— Конечно, знаю, — презрительно бросаю я.

И правда, догадываюсь, хотя бы по ее тону. Во всяком случае, понимаю, что «баз» из разряда словечек вроде «перси» или «жиды»: от таких слов только и жди подвоха — ни с того ни с сего вдруг оказываешься в кольце неприязненно ухмыляющихся физиономий, обладатели которых эти слова прекрасно знают, а ты — нет. «Баз», да-да… Из глубин памяти всплывает что-то смутное, стыдное, случайно подслушанное и по-своему осмысленное. Вонючее, что ли?

— Не знаешь, не знаешь! — дразнит Барбара.

— А вот и знаю.

— Ну и что же это?

— Не скажу.

Не скажу, потому что мое смутное воспоминание перерастает в уверенность. Я же прекрасно знаю, что такое «базы». Это укромные будочки, стоящие в Закоулках на задах каждого домишки, — своеобразные местные уборные, причем на редкость омерзительные, микробы там так и кишат, и будки эти я обсуждать не намерен.

— А лицо-то у тебя все стало склизкое, — хихикнула Барбара.

Я молчу, не снисходя до ответа. «Склизкое»! Кто ж на такое девчачье слово станет реагировать?

— Все потому, что ты рассказываешь враки. А сам этого слова *не знаешь*.

— Слушай, шла бы ты отсюда, а?

Я бросаю взгляд в сторону дома Хейуардов. С минуты на минуту на садовой дорожке появится Кит… перейдет улицу… проползет тайным ходом под кустами… и обнаружит, что в нашем укрытии не протолкнуться: тут устроилась Барбара Беррилл со своим кошельком, высоко торчащими коленками, аккуратно прикрытыми юбочкой школьного платья, и трусиками, во всей красе белеющими из-под подола. Ее-то Кит, разумеется, ругать не будет, он и разговаривать с ней не станет — в точности как его отец, который меня никогда не ругает и вообще ко мне не обращается. Отвечать за нее перед другом буду я — отвечает же он за меня перед своим отцом. Кит взглянет мне в глаза и чуть улыбнется насмешливой улыбкой. Я вспоминаю про наточенный штык, лежащий рядом, в запертом сундучке; вот сейчас придет Кит и чиркнет лезвием по моему горлу за то, что я нарушил клятву хранить нашу тайну.

Каким-то образом Барбара Беррилл разгадала ход моих мыслей:

— А что у вас в этой жестяной коробке?

— Ничего.

— На ней же замочек. Секреты небось там прячете?

Я опять посматриваю в сторону дома Хейуардов. Барбара следит за направлением моего взгляда, затем оборачивается ко мне и снова ухмыляется во весь рот: ей совершенно ясна причина моей тревоги. И я чувствую, что влип, как муха, меж двух улыбок — между этой, широкой и нахальной, и той, едва заметной, сдержанной, однако пронзающей не хуже острого клинка.

— Не волнуйся, — говорит она. — Как только он появится, я тут же уйду.

И не движется с места, сидит себе, обхватив руками коленки и испытующе глядя на меня. Но теперь она опустила подбородок на обтянувший колени подол, и мне не видно, улыбается она все еще или нет. Под лучами вечернего солнца на загорелых ногах золотятся тонкие волоски.

— Кит твой лучший друг, да? — тихо говорит Барбара. — Твой *самый-пресамый* лучший друг?

Я ничего не отвечаю. У меня нет ни малейшей охоты обсуждать с Барбарой Беррилл перси и базы, а уж тем более — Кита.

— Чем он тебе нравится? Он ведь такой противный!

Я не свожу глаз с дома Хейуардов.

— Жуткий задавака. Все, кроме тебя, терпеть его не могут.

Она знает, что Кит ее не любит, вот и злобствует. И все равно, я чувствую, что вопреки моей воле слова «противный» и «терпеть его не могут» проникают в меня, словно микробы, и эта зараза будет постепенно расползаться по мне, точно гадкая вялость, какая бывает, когда болеешь без высокой температуры.

Я упорно молчу, и Барбара догадывается, что хватила через край.

— А сказать тебе, кто *мой* лучший друг? — стараясь задобрить меня, ласковым голоском спрашивает она. — Мой самый-пресамый лучший друг?

Не поворачивая головы, я кошусь на дом Кита и замечаю там какое-то движение. Кто-то направляется через сад к калитке. Нет, не Кит. Из калитки выходит его мать.

— Я тебе скажу кто, а ты мне за это раскроешь какой-нибудь секрет, ладно? — говорит Барбара Беррилл.

Мать Кита неторопливо идет по тротуару. В руках у нее нет ни корзинки для покупок, ни писем. Я, не глядя, знаю, что Барбара тоже не сводит с нее глаз. Мать Кита скрывается в доме тети Ди.

— И чего она все время к ней ходит? — удивляется Барбара Беррилл. — Чудно все-таки: мало того, что родня живет рядом, на той же улице, ее вдобавок то и дело навещают?

А я почему-то мысленно вижу ящик, в котором некогда лежал набор для крокета. Следом всплывает еще одно воспоминание, давно уже не дававшее мне покоя, только я этого не сознавал: ржавые крокетные воротца, едва видные в густой высокой траве, разросшейся на лужайке позади дома Китовой тети. Да, тетя Ди наверняка *тоже* причастна ко всей этой истории.

Мать Кита почти сразу появляется в дверях. На руке у нее опять корзина для покупок.

Что-то щекочет мне кожу, я оборачиваюсь. Завиток девичьих волос касается моего плеча. Припав рядышком к земле, Барбара тоже ведет наблюдение.

— Всегда-то она все покупает для миссис Трейси, — бормочет она себе под нос.

С нарастающим отчаянием я смотрю вслед матери Кита, которая неторопливым шагом уходит по улице вдаль, на закат. Мне нужно бы бежать за ней, последить из-за угла, войдет она в тоннель или нет, а потом, домчавшись до темного жерла, посмотреть, куда свернет, пройдя тоннель до

конца… Но как мне это сделать, если я сам под слежкой?

— Чудно все-таки, — задумчиво роняет Барбара Беррилл. — Зачем идти за покупками вечером, когда все магазины закрыты?

— Так она же немецкая шпионка, — объясняю я.

Нет-нет, этих слов я не произношу. Или все же произношу? Они стучат в моей голове, рвутся наружу, чтобы насмешливая улыбка навсегда слетела с лица огорошенной Барбары. Но на самом деле я этих слов не произношу. Кажется, нет.

Барбара Беррилл смотрит на меня и опять расплывается в улыбке. Значит, этих слов я все-таки не произнес. Правда, улыбается она уже не насмешливо, а заговорщически.

— Пошли за ней, посмотрим, куда она направилась! — шепотом предлагает Барбара.

— За ней?! — повторяю я, не веря своим ушам: ведь она только что вслух произнесла мое самое заветное желание. — Совсем очумела!

— Может, она что-нибудь покупает нелегально. С черного хода, как миссис Шелдон. Дидре своими глазами видела: когда лавка Хакнелла уже закрылась, миссис Шелдон что-то вынесла

из задней двери.

Я чувствую себя уязвленным: подумать только, государственная измена, совершаемая матерью Кита, низводится до столь мелкого, ничтожного проступка!

— Еще чего! Нет, конечно, — презрительно бросаю я.

— Откуда ты знаешь?

Откуда я знаю? Знаю, и все тут! Ни к каким магазинам она не свернула. Она уже прошла тоннель и сейчас, склонившись к ящику, что-то туда кладет… И что-то оттуда вынимает — мелькает у меня мысль. Кладет, скажем, новую пачку сигарет, а вынимает несколько ломтиков ветчины, положенных в ящик кем-то из обитателей Закоулков?..

Может, всего лишь этим она и занимается? Ходит время от времени к Коппардам за пайковыми сигаретами, которых ни она, ни отец Кита не курят, а потом тихой сапой меняет их на горсточку продуктов? Такой вариант внезапно представляется более чем вероятным. Сердце у меня падает.

Я молчу, не осмеливаясь даже поднять глаза на Барбару. Но чувствую на себе ее внимательный взгляд; наверняка она опять насмешливо ухмыляется.

— А что, если она несет записочку дружку миссис Трейси? — понизив голос, роняет Барбара.

Вот тут уж я поворачиваюсь и ошарашенно уставляюсь на нее. У тети Ди *дружок?!* Что она несет! Разве у тетки вообще может быть *дружок?*

— А ты не знал? — шепчет Барбара. — Дидре видела, как она с ним целовалась. Во время затемнения. Дидре ходила с твоим братом по тоннелю и там их застукала.

Снова очередной подвох. Опять я посреди минного поля.

— Раньше он навещал миссис Трейси по ночам, когда все спали, — продолжает Барбара. — Только миссис Хардимент их засекла, решила, что он — вражеский лазутчик, и позвонила в полицию.

Ага, тогда-то и приехал на велосипеде полицейский, не спеша подкатил к дому тети Ди, слез…

— А потом стали уверять, будто у миссис Трейси были щели в светомаскировке. Враки, весь сыр-бор загорелся из-за лазутчика, только он на самом деле не лазутчик: Дидре сколько раз видела, как он входил в дом. Поэтому теперь с Милли приходится сидеть миссис Хейуард, пока миссис Трейси ночью, чтобы никто не видел, уходит из дому, но сейчас темнеет-то очень поздно.

Я чувствую на себе пристальный взгляд Бар-

бары; ей интересно, как я отреагирую на все эти откровения. Я никак не реагирую. Внутренний голос мне подсказывает, что это любимые девчачьи разговоры, особенно характерные для девчонок вроде сестер Беррилл, которые теперь, когда отец ушел на фронт, совсем отбились от рук. Перед моими глазами всплывает фотография в серебряной рамке: тетя Ди с дядей Питером, у дяди Питера на нагрудном кармане кителя видны «крылышки». Коснувшись крепкой серебряной рамки, рассказанная Барбарой басня тут же бесследно лопается, как мыльный пузырь, разве только на пальцах слегка ощущается противный слизистый налет.

— А ты снова весь склизкий, — замечает Барбара. — Не знал, что ли, что у всех бывают дружки и подружки?

— Вот еще, конечно, знал.

Она хохочет, ее смеющееся лицо совсем рядом с моим. Я ощущаю под пальцами противный вязкий налет. Икс — это поцелуй. Пройдя тоннель, мать Кита кладет в секретный ящик поцелуй, который там потом найдет мистер Икс, дружок тети Ди…

— Да это только пока мистер Трейси служит в военно-воздушных силах. Дидре говорит, что теперь, когда все папы ушли на фронт, у очень

многих дам завелись дружки.

— Барбара! — раздается вдруг голос миссис Беррилл. — Ты где? Если ровно через минуту не явишься домой…

— У мамы тоже есть дружок, — шепчет Барбара мне в самое ухо. — Дидре нашла его карточку в маминой сумке. Он уполномоченный по гражданской обороне.

— Барбара! Я второй раз повторять не стану!..

Барбара уже ползет под кустами прочь, ее кошелек волочится по земле. Вдруг она замирает и оборачивается ко мне. Явно хочет что-то сказать, но вдруг робеет.

— Моя самая-пресамая лучшая подруга — Розмари Уинтерс, у них миссис Колли учительница, — наконец сообщает она. — А ты, если хочешь, можешь стать моим просто лучшим другом.

После ее ухода я сижу как истукан в полном обалдении, а накатившая следом волна стыда лишает меня последних сил. Я предал Кита. Я впустил в наше тайное укрытие постороннего, и кого? Барбару Беррилл! Как наблюдатель я тоже не выполнил своих обязанностей. И вдобавок позволил себе слушать гнусные измышления про мать Кита — что она будто бы достает на черном рынке ветчину и сливочное масло, что

она будто бы причастна к запретным и позорным делишкам, связанным с персями и дружками. Я позволил себе на миг усомниться в том, что она — немецкая шпионка.

А тем временем *она,* снова вынырнув из-за угла, направляется сюда… входит в калитку тети Ди… подойдя к дому, легонько стучит в окно гостиной. Тут же открывается входная дверь, на пороге стоит тетя Ди.

Мать Кита вручает ей корзину. Опять ходила за покупками для тети Ди. А магазины-то все закрыты.

Тетя Ди шарит в корзине. Ищет записку от своего дружка, которую принесла ей сестра…

Нет, на самом деле, конечно, ничего такого не происходит. Я вспоминаю дружелюбную, открытую улыбку тети Ди. Человек, который так улыбается, не способен что-то таить от окружающих. Я вспоминаю, с какой доверчивостью улыбается жене дядя Питер с фотографии в серебряной рамке, что стоит у тети Ди на каминной полке.

Сейчас она не улыбается. Нервно теребит губу. Но на мать Кита смотрит доверчиво и с надеждой, в точности как та девчушка с куклой на другом снимке смотрит на свою старшую сестру, которая

всегда будет ее защищать.

Сестры… Да. Интересно, что эти сестры, стоя на крыльце, так сосредоточенно обсуждают? Небось то же самое, чем делятся друг с другом Дидре и Барбара. Секреты… Про поцелуи в кромешном мраке затемнения…

Мать Кита поворачивается и идет к калитке. Выглядит она совершенно как всегда: сдержанная, спокойная, абсолютно невозмутимая. Стоя на пороге, тетя Ди смотрит ей вслед. А ведь тетя Ди неуловимо переменилась. В конце концов, и у нее появились секреты.

Тетя Ди закрывает за собой входную дверь. Спустя несколько мгновений мать Кита закрывает свою. Занавес опять опустился.

«Семнадцать ноль-ноль. Снова входит».

На следующий день я опять сижу на посту, на коленях — раскрытый журнал. Держа наготове двуцветный карандаш, я мучительно припоминаю, куда же это мать Кита вошла в семнадцать ноль-ноль, но тут внимание мое привлекает какое-то движение в саду у Хейуардов.

В который раз повторяется та же сцена: мать Кита выходит из калитки, на руке у нее корзина. Опять идет к тете Ди шептаться про ихние секреты… А вот и нет: она проходит мимо дома тети

Ди… Не то чтобы я хоть на минуту поверил дурацким россказням Барбары Беррилл, и все же…

Мать Кита вот-вот дойдет до угла, и я понимаю: сейчас у меня другого выхода нет, я обязан пойти за ней. По тоннелю. Один.

Не представляя, откуда мне набраться на это храбрости, я тем не менее уже поспешно ползу из-под кустов на улицу, бегу к углу, сворачиваю к тоннелю…

А *она* опять испарилась. Извилистая тропа, что сквозь наступающую с обочин поросль ведет к тоннелю, абсолютно пуста; так же пуста была уходящая влево улица всякий раз, когда мать Кита исчезала из виду. Знакомый холодок бежит у меня по телу.

Внезапно за спиной раздается негромкий шорох и чавканье влажной земли под ногами. Я оборачиваюсь, как ужаленный. Вон она, почти на углу, сбрасывает со старой газеты объедки в бак для свиней и внимательно смотрит на меня. Выпускает из рук крышку, и бак с лязгом захлопывается.

— Здравствуй, Стивен, — говорит она и улыбается. — Кита разыскиваешь?

Ага, *она* слева. А есть еще и правая сторона. Плюс баки для свиней. Ну, все ясно.

Ничего не соображая, я отрицательно мотаю головой.

— Но ты ведь явно кого-то ищешь.

— Нет.

— Случайно не *меня* ли, а, Стивен?

— Нет, что вы.

Остается спасаться бегством; чтобы скрыть смущение, я снова поспешно лезу в кусты. Она поворачивает назад к дому и, проходя мимо моего укрытия, смотрит в мою сторону. Непонятно, откуда она знает, что я сижу тут и наблюдаю за ней, ведь о нашем тайнике вроде бы никому не известно; однако же знает. Спустя десять минут она вновь выходит из своей калитки на улицу, но на этот раз у меня точно не хватит духу следовать за ней.

Теперь у нее в руках не корзина, а тарелка. И направляется она не к дому тети Ди и не на угол. Она переходит дорогу… и устремляется прямо ко мне. Я замираю в неподвижности, а она, вглядываясь в густую зелень, тихо шепчет:

— Стивен, можно к тебе?

Я не в силах выдавить из себя ни слова. В какие только места мы не отправляли ее силой своего воображения! Какие только невероятные, нам самим не очень ясные обстоятельства мы для нее

не выдумывали! Но чтобы она явилась *сюда?!* Такое нам в голову не приходило.

Страшно сконфуженный, я сижу не поднимая глаз, пока она пробирается под кустами по нашему лазу. Я догадываюсь, что в эту минуту она представляет собой довольно несуразное зрелище: одна рука занята тарелкой, и, чтобы не запачкать коленей, приходится вес всего тела переносить на другую руку; из-за этого невозможно пригнуться пониже, и ветки то и дело цепляются за кофту на спине. Старательно расчистив пятачок земли от листьев и насекомых, мать Кита усаживается передо мной, скрестив ноги, прямо в пыль.

Я пребываю в полном замешательстве. Даже в самой обычной обстановке никогда не знаешь, как себя вести наедине с чужой матерью. А если вы, словно два карапуза, сидите на голой земле буквально нос к носу, потому что места нет и для вдвое меньшего человека, — как тут быть?

И вдобавок гнетет сознание, что она — не просто чья-то мать, а немецкая шпионка, предательница родины.

Куда, во-первых, девать глаза? Смотреть-то ведь не на что, кроме как на нее. Но не станешь же глазеть на ее лицо? Или на ее скрещенные

ноги, аккуратно прикрытые темно-синей летней юбкой, — на них почему-то смотреть стыдно. А больше не на что, кроме той части тела посредине, которая, как мне известно уже с год, не меньше, называется «перси»; но думать про эту часть тела так же немыслимо, как про вонючий «баз».

Она опускает тарелку на землю между нами. На расписанном розами фарфоре лежат два шоколадных печеньица.

— Я подумала, ты захочешь чем-нибудь подкрепиться, — говорит она. — Кит, боюсь, сегодня занят, ему надо помочь отцу в мастерской, поэтому вечерок тебе придется поиграть без него.

Я беру одно печенье и принимаюсь его грызть; наконец есть на что смотреть и чем занять руки, с облегчением думаю я. Наступает молчание. Неужели же *она* пришла сюда и села передо мной на пыльную землю только для того, чтобы мне это сообщить?

Мать Кита тем временем осматривает наше убежище — словно вежливая гостья, навещающая знакомых.

— Молодцы, ребятки, поставили табличку, — говорит она, указывая на плитку с надписью, преграждающую вход в наше укрытие. — «Баз»!

Как только неприличное слово слетает с ее губ, я со стыдом чувствую, что лицо мое вновь приобретает тот малопривлекательный вид, над которым насмешничала Барбара. Наверное, миссис Хейуард не знает, что значит «баз», думаю я, стараясь не смотреть на ее перси.

— Летом он пахнет очень неприятно, — замечает она. Выходит, она его все-таки знает. — Зато под ним можно устроить замечательное укрытие!

Она поднимает с земли журнал. Я вспоминаю, что там есть полный список дат с иксами и восклицательными знаками, и коченею от ужаса. Кусок взятого из вежливости шоколадного печенья застревает у меня в глотке.

Но мать Кита уже разглядывает надпись на обложке: «ЖУРНАЛ НАБЛЮДЕНИЙ. САВИРШЕНО СИКРЕТНО».

— Ох, уморили! — со смехом говорит она. — Это ведь творчество Кита, верно?

Чтобы избавить друга от позора, я готов солгать: «Нет, мое», но ни единый звук не пробивается сквозь застрявшее в горле печенье. Мне хочется вырвать у нее журнал, пока она его снова не открыла, да руки не слушаются.

Она оглядывается на табличку у входа в укрытие, и ее опять разбирает смех:

— А, поняла! *База!* Бесподобно!

Она опускает журнал на землю на место.

— Наверное, лучше уж и не заглядывать в журнал, раз там такие страшные тайны.

Я наконец глотаю непрожеванное печенье. Она смотрит сквозь листву наружу и негромко бормочет:

— А ведь замечательное местечко для наблюдений. Вся улица как на ладони. Так вот, значит, чем вы тут занимаетесь. Ведете за всеми нами слежку, а результаты заносите в журнал, верно?

Я по-прежнему не отзываюсь. Такое чувство, будто простейшие слова, вроде «да» и «нет», сталкиваясь у меня на языке, взаимно нейтрализуют друг друга.

— По-моему, у Кита где-то есть бинокль для наблюдений за птицами. Он вам здесь очень бы пригодился.

Да/Нет. Уже пользуемся биноклем/Бинокль нам тут ни к чему.

— И что же вы углядели? Что-нибудь страшно подозрительное?

Неожиданно для меня самого моя голова отрицательно качнулась. Возможно, я начинаю очухиваться после первого потрясения. Наступает тишина. Я по-прежнему стараюсь не смотреть

на ее перси, но макушкой поникшей головы ощущаю, что она ласково улыбается, и вдруг лицо ее становится серьезным. Стало быть, это еще не все.

— Ладно, будем надеяться, Канадская конная полиция в конце концов схватит преступника, и все кончится хорошо. Я вовсе не хочу портить вам игру. Но вы, друзья, все же не забывайте, что даже самая лучшая игра на свете может порой завести далеко. Будет очень стыдно, если вы ненароком обидите кого-нибудь из соседей. Мне кажется, было бы *немножко, самую чуточку* неучтиво вести настоящую слежку за взрослыми.

Ну, ясно, заметила-таки нас. В таком случае, почему она выговаривает мне, а не Киту? Известно же, что за провинности, совершенные детьми, родители отчитывают своего, а не чужого ребенка. Почему она специально явилась сюда и высказывает все *только мне?*

— Как хорошо, что Кит нашел себе настоящего друга, ведь человеку, у которого нет ни братьев, ни сестер, бывает порой одиноко, а Кит с трудом заводит друзей. Я знаю, фантазия у вас обоих буйная; и когда вы играете вместе, с вами, естественно, случаются интереснейшие приключения. Но Кит, как ты наверняка сам убедился,

легко поддается чужому влиянию.

В крайнем изумлении я поднимаю голову и впервые смотрю ей прямо в лицо. Неужто она и вправду не понимает, что во всех наших затеях зачинщиком и командиром бывает только Кит? Разве может опытная шпионка столь превратно толковать то, что видела собственными глазами? Но это лишь делает честь моему другу, решаю я, — значит, Кит ничуть не хуже родителей умеет скрывать от окружающих свою истинную натуру.

Глаза у матери Кита карие, как у Барбары, но в них уже нет прежней спокойной самоуверенности.

Они пристально смотрят мне в лицо — точно так же сверлила меня взглядом Барбара, желая насладиться эффектом от своих дурацких сплетен. Только в глазах Китовой матери насмешливой искорки не видно. Они совершенно серьезны.

— Мне очень не хочется запрещать Киту водиться с тобой, — едва слышно произносит она. — Но и не хочется, чтобы он угодил в какую-нибудь неприятную историю.

Голос ее смягчается. Глаза тоже. Однажды заглянув в них, я уже не могу отвести взгляд.

— Есть на свете дела, которыми люди предпо-

читают заниматься не на виду, — продолжает она. — Вот как вы с Китом. И, как правило, им не хочется, чтобы об этих вещах судачили все, кому не лень.

Она продолжает пристально смотреть на меня, и я вдруг леденею от страха: что, если она возьмет и выложит все начистоту? Я уже готов умолять ее воздержаться от признаний. Не хочу я их слышать. Не хочу бесповоротно убедиться в нашей правоте.

Но она отводит взгляд.

— Это может быть какая-нибудь сущая ерунда. Ну, не знаю… Взять хотя бы мистера Горта. Допустим, он решил вечерком завернуть в привокзальную таверну выпить стаканчик пива; навряд ли он будет рад узнать, что кто-то за ним наблюдает и потом сообщает каждому встречному-поперечному: «А мистер Горт снова сидит в пивной». Или возьмем мистера и миссис Стотт. Едва ли им понравится, что кто-то ходит за Эдди по пятам и пялится на него. Или, предположим, вы начнете выслеживать обитателей «Тревинника». Они, вероятно, станут стесняться своей внешности, начнут конфузиться.

Ее примеры меня не убеждают. Всем известно, что мистер Горт ходит в пивную. Всем известно,

что Эдди Стотта не следует разглядывать. Но разве плохо, если до ливреев из «Тревинника» наконец дойдет, как несуразно они выглядят и какими кажутся чужаками? Очень даже хорошо! Зато теперь мне ясно, что мать Кита не намерена прямо нам указывать, за кем именно не надо вести слежку и почему. И не намерена ни в чем признаваться. Я и рад этому, и разочарован. Она поднимает с земли пустую тарелку.

— Ты, во всяком случае, мальчик разумный, воспитанный, вот я и решила побеседовать с тобой наедине, без Кита. Разговор этот останется между нами, ладно? Пожалуй, даже Киту лучше о нем не говорить.

Я согласно киваю. А что мне еще остается делать?

— Как видишь, я тебе вполне доверяю. Полагаюсь на твое честное слово, да?

Я опять беспомощно киваю.

Она кладет руку мне на плечо и смотрит прямо в лицо:

— Ты ведь меня не подведешь, верно, Стивен?

Я отрицательно мотаю головой. Не убирая руки, она по-прежнему сверлит меня взглядом. Затем с легким вздохом выпускает мое плечо, готовясь выбираться из-под кустов, но вдруг замирает,

глядя на нашу табличку.

— Вы меня, пожалуйста, извините. Как глупо, что я сразу не догадалась. Обещаю, что больше мешать вам не буду.

Она с трудом ползет под ветками, останавливается и опять оборачивается:

— Давненько ты не приходил играть к нам. Давай-ка я скажу Киту, чтобы он пригласил тебя завтра на чай, хорошо?

Она вылезает из зарослей во внешний мир и исчезает из виду, а я пытаюсь осмыслить случившееся. Опять я впустил посторонних в наш тайник. Опять все переменилось.

И теперь, когда ее уже рядом нет, я вспоминаю, с каким трудом выкарабкивалась она отсюда, и мысленно вижу ее со спины: повыше подола — нелепое пятно пыли, а все элегантное, строгого покроя платье там и сям, будто в насмешку, утыкано мелкими веточками и присыпано трухой сухих листьев. И мне вдруг становится… жаль ее, несмотря на все ее преступления. Как грустно, что ей пришлось унизить себя передо мной.

И тут я вздрагиваю всем телом от неожиданности: сквозь листву меня вновь высматривает мать Кита. Тарелки в руках уже нет. Вместо нее — опять корзина для покупок. Взгляд карих глаз

снова безмятежен.

— Спасибо за компанию, — с улыбкой говорит она.

И не спеша направляется к углу.

Я гляжу ей вслед. В этот раз она *наверняка* пойдет через тоннель.

Но я не двигаюсь с места.

6

Отчего я просыпаюсь? Может, из-за волнений? Мы взялись за важное дело, но мать Кита велела мне прекратить слежку; как же нам теперь быть? Или мне не дает покоя нечистая совесть? Ведь я столько раз проявлял слабость и допускал всякие недостойные мысли.

Или причина лишь в том, что в моей плотно зашторенной спальне вдруг стало необычайно светло?

Сквозь щели в светомаскировке пробивается странное белое сияние. Я встаю, высовываю голову из-под шторы и замираю в изумлении. Открывающийся из окна знакомый скучный мир преобразился. На фоне бархатной черноты ночи заросли кустов в нашем палисаднике и фасады домов напротив залиты изысканно ярким, неземным бело-серебристым светом. Все замерло в полной, абсолютной тишине. Кажется, будто Тупик обернулся картиной с изображением Тупика; или какая-то сила, изловив волшебный перезвон часов в доме Хейуардов, превратила его в безмолвную трехмерную фигуру.

Ночь — почти забытое время суток. Как и полная луна, что льет с неба над крышами свой нежный свет, скрадывая запустение в нашем саду и щербатость штукатурки на домах напротив, смывая весь стыд и сумятицу прошедшего дня, оставляя лишь эту белоснежную тишь.

А ведь сейчас как раз середина лунного цикла. До безлунных ночей еще ровно столько же.

И что мне делать? Не могу же я по-прежнему выслеживать мать Кита и ходить за ней по пятам, раз она нас уже засекла и вдобавок взяла с меня слово, что мы больше не будем. Но не могу и перестать следить, перестать ходить за ней по пятам, ведь она, в сущности, дала мне понять: мы можем выведать такое, что ей хочется от нас утаить.

Очевидно, надо рассказать все Киту, пусть он разберется. Это же его мать! И шпионка его! Не менее очевидно, однако, что рассказать об этом Киту я не могу, потому что *она* не велела. *Она* велела мне молчать, а я только беспомощно кивнул. То есть согласился. Все равно, что дал слово.

Впрочем, и до этого накопилось много всякой всячины, про которую я не могу рассказать Киту. Про явившуюся к нам Барбару Беррилл. Про ее дурацкие завиральные истории о его матери и тетке. А теперь на меня навалился еще один сек-

рет. Но если я его Киту не открою, разве сумеем мы и дальше действовать заодно?

Голова моя не в силах переварить эти несовместимые обстоятельства и, чудится, вот-вот лопнет.

Высунувшись из окна, я по-прежнему гляжу на безмятежный, залитый белым светом мир, и вдруг все начинает мне казаться не таким уж неразрешимым. Если бы только у меня была завязанная узлами веревка (Кит давно мне о ней говорил), я бы из окна спустился по ней в это великое безмолвие. Я вобрал бы эту тишь в себя и сам стал ее частью. Просто-напросто совершил бы героический подвиг и одним махом разрешил все противоречия.

Нужно пройти по тоннелю сейчас, пока все вокруг замерло и *ее* нет, значит, следить и ходить по пятам не за кем. Пока из ящика не успели ничего вынуть, я узнаю, что же *она* положила туда на этот раз. Я найду улики, которые неопровержимо подтвердят, что Кит прав: его мать действительно немецкая шпионка.

Один-единственный героический подвиг, который наутро я положу к ногам Кита. И разом покончу со своими терзаниями, изглажу из памяти все слабости и ошибки с той же легкостью, с

какой в лунном свете растворяются изъяны дня.

Я должен пройти сквозь тьму тоннеля. В одиночку. И с другого конца выйти на лунный свет.

Если бы только у меня была веревка с узлами…

А тишь все длится. Я никогда прежде не видел мир таким белым и неподвижным.

До меня постепенно доходит, что на самом деле веревка мне не нужна. Можно просто сойти по лестнице вниз.

Сразу следом за этой мыслью приходит вывод: я обязан это сделать. И сделаю.

Немедленно накатывает страх. Летняя ночь вдруг становится жутко холодной, прямо ледяной. Меня бьет такая неудержимая дрожь, что я с трудом напяливаю на себя свитер и обуваю сандалии. Зубы стучат, словно игральные кости в пустой коробке. На своей кровати, будто потревоженный этим стуком, заворочался Джефф. Я на ощупь спускаюсь вниз, иду через кухню к черному ходу. Дрожащими руками медленно-медленно отодвигаю засов. Тихонько ныряю в серебристую тьму и растворяюсь в ней.

Еще ни разу в жизни я не выходил тайком из дому среди ночи. Не испытывал этой необъятной тишины, этой новой, неизведанной свободы, когда можно идти, куда хочешь, и делать все, что

взбредет в голову.

У меня конечно же не хватит духу выполнить задуманное. Я умру от страха, не пройдя Тупик до конца.

Но я должен это совершить, должен.

Между отраженным в воде серебристо-серым кругом и вторым таким же впереди висит непроглядная тьма, и границы ее можно определить только на слух. Капли, срывающиеся откуда-то сверху, из влажной черноты над головой, плюхаются в черную воду совсем рядом, и оглушительное эхо этих звуков сливается с топотаньем и плеском невидимых ночных тварей, насмерть напуганных моим лихорадочным дыханием, гулко отдающимся от стен. Еле живой от страха, я оступаюсь на узенькой невидимой тропке, вьющейся по краю невидимого озерца, и хватаюсь рукой за покрытую мерзкой слизью стену. В слизи конечно же полным-полно микробов — значит, и руки мои все в микробах.

Но вот наконец я выхожу на ночной простор и с благодарностью смотрю вверх на безмятежный, безупречно круглый белый лик, что плывет над железнодорожной насыпью. А скоро опять наступит кромешно темная ночь, и луна уже не будет обелять мир. Не успеваю я про это подумать, как

налетает прохладный ветерок и луна скрывается за тучкой. Хрупкий серебристый мир исчезает.

Я стою как вкопанный, пытаясь справиться с новым приступом панического страха. Постепенно различаю во тьме пятна черноты разной плотности; из этих пятен и отдельных негромких звуков в моем сознании складывается некое подобие мира. Вот шелестят листья на деревьях, растущих по обочинам проулка. В вышине над рельсами тихонько гудят телеграфные провода.

Я крадучись двигаюсь дальше. Нащупываю рукой шероховатый кирпич подпорной стенки… ржавую проволоку ограждения… сломанные стебли дикой петрушки… гладкий металлический ящик с выпуклыми буквами на крышке.

Прислушиваюсь. Шелест листвы. Гуденье проводов. Мое собственное дыхание. Дальний лай собак в Закоулках. Больше ничего.

Осторожно открываю крышку. В ее блестящей внутренней поверхности отражается сочащийся сквозь тучи тусклый свет. А от блестящего дна ящика не отражается ни лучика. Я вглядываюсь в черную глубь. Есть в этой черноте что-то странное, *на слух* странное… Странность в том, что *не слышно ни звука.* А ведь жесткое металлическое нутро непременно отозвалось бы на еле улови-

мое дыхание ночи, но ящик глухо молчит.

Я осторожно сую в него руку. Чудится, что самый воздух заметно густеет вокруг пальцев, когда они погружаются в нечто, податливо оседающее под ними. Я отдергиваю руку.

Справившись с испугом и изумлением, пытаюсь понять, что же такое ощутил под пальцами. *Мягкость.* Сухую прохладную мягкость. В ящике что-то лежит. И в конце концов я догадываюсь что.

Какая-то ткань.

Очень медленно и осторожно я погружаю обе руки в ящик. Да, ткань… Ее тут много… И она разная… Местами гладкая, местами волокнистая… Вот шов… Пуговица… Еще одна…

Теперь пальцы натыкаются на что-то грубое, покрытое чередующимися рубчиками и бороздками. Предмет на ощупь почему-то очень знаком. Да, точно знаком. Осторожно подсовываю руку, чтобы ощупать его снизу, определить ширину… И замираю.

Тьма вокруг меня чуточку меняется. Я поднимаю глаза к небу: край тучи едва заметно светится. С минуты на минуту луна выплывет снова. Но что-то еще изменилось в мире. До меня доносится какой-то новый *звук*…

Я навостряю уши. Ничего. Только шорох листьев, прерывистый гуд проводов, мое собственное дыхание…

Я опять целиком переключаюсь на загадочный предмет. Изнутри он такой же, как снаружи. Шириной примерно с мою ладонь… Да, я знаю, что это. Провожу рукой вдоль, чтобы для верности ощупать конец, и снова застываю.

Ага, вот что переменилось на слух: мое собственное дыхание. В нем появились какие-то новые, незнакомые призвуки. И оно не совпадает с движениями моей грудной клетки.

Я застываю не дыша. Но вздохи-выдохи слышны по-прежнему. Значит, в нескольких футах от меня кто-то есть. Этот «кто-то» неслышно подошел к дыре в проволочном ограждении и, как я, замер, прислушиваясь.

Легкий шорох. Кто-то нащупывает рукой кирпичную кладку подпорной стенки, как нащупывал ее я… Отгибает ржавую проволоку. Протискивается под ней…

Он уже очень близко, почти за моей спиной, он подбирается к ящику. Несомненно, мужчина — это слышно по его равномерному, по-мужски шумному дыханию. Крупный мужчина — это я тоже определяю на слух. Еще мгновение, и его

руки наткнутся вместо ящика на мою спину.

Я не в силах шевельнуться. Не в силах перевести дух. Болезненный холод электрическим током бежит по спине: сейчас чужие руки коснутся меня…

И вдруг тьма растворяется в потоке лунного света.

Ровное дыхание за спиной резко обрывается, раздается хриплое «Ах!».

Мы оба замерли. И затаили дыхание.

Стоит мне только обернуться, и я *его* увижу. Но обернуться не могу — словно в ночном кошмаре, когда чуешь, что сзади приближается кто-то ужасный.

Луна вновь прячется за тучами, и незнакомца будто ветром сдуло. Слышно, как он судорожно протискивается сквозь дыру в проволочной ограде и, спотыкаясь на изрытой колеями дороге, скрывается в Закоулках.

Я стою столбом, все еще чувствуя в себе электризующий заряд мучительного, невыносимого холода.

Я жду… жду… и наконец снова слышу вдалеке лай собак; значит, незнакомца поблизости точно нет. Только теперь я разворачиваюсь, кубарем скатываюсь по склону, подлезаю под ограждение

и влетаю в гулкую тьму тоннеля.

* * *

Когда я, ничего не видя перед собой, сворачиваю в Тупик, там творится невообразимое: тьму беспорядочно прорезают лучи фонариков, какие-то люди мечутся, словно помешанные. Внезапно все фонари уставляются мне в лицо, от яркого света режет глаза. Чьи-то руки неистово тискают меня, приглушенные голоса засыпают градом вопросов:

— Где ты пропадал?.. Что ты, черт возьми, себе позволяешь?! Совсем спятил?.. Мы уже хотели звонить в полицию!.. Да ты знаешь, который час?..

Заполонившая улицу толпа сумасшедших на деле оказывается моими родителями в домашних халатах; стараясь не повышать тона, чтобы не разбудить соседей, мать с отцом подталкивают меня к нашему дому. На крыльце, язвительно ухмыляясь, стоит Джефф. Наверное, он на меня и наябедничал.

Как только за нами закрывается входная дверь, родители, уже не сдерживаясь, кричат в голос; отец включает свет, и сразу обнаруживается новая тема для испуганных восклицаний.

— Да на тебе сухой нитки нет! — ахает мама. — С головы до ног мокрехонек!

И правда, хоть выжимай. Видимо, я помчался прямиком через лужу и плашмя плюхнулся в нее.

Мама срывает с меня, словно с трехлетки, мокрую одежду.

— Горе луковое, Иисус бы прослезился, — роняет Джефф. — И за кем вы на этот раз гонялись? За немецкими подлодками?

— Опять небось с Китом очередную шкоду устроили! — рявкает отец.

Я впервые вижу его в таком состоянии.

— Кит?! — Мама не верит своим ушам. — Неужто и Кит бегает по округе как оглашенный? Не может быть!

Я молчу. Зубы у меня застучали снова.

— Он тоже с тобой был? Отвечай! — допытывается отец. — Не то мне придется будить их среди ночи — проверять, дома он или нет.

Такая немыслимо страшная перспектива вынуждает меня сменить тактику; я отрицательно мотаю головой.

— Ты уверен? — спрашивает мама. — Уверен, что не вовлек Кита в эту передрягу? Потому что если он сейчас в таком же виде, то я даже не

представляю, что подумает его мать!

Я опять отрицательно мотаю головой. Неужели мама в самом деле полагает, что это я вовлекаю Кита в разные передряги, а не он меня? И как только Киту удается так ловко водить за нос обеих наших мам?

— Что же вы все-таки затеяли? — спрашивает отец. — Если, конечно, ты простишь мне столь бесцеремонное любопытство…

В ответ я снова погружаюсь в безмолвное оцепенение. Сознательно ли я отказываюсь говорить о том, что, по моему убеждению, ни в коем случае нельзя раскрывать посторонним? Или я просто настолько потрясен произошедшим, что потерял дар речи? Голый, дрожащий, я стою там, как малое, еще не научившееся говорить дитя, а в голове свербит одна-единственная горькая мысль: я же мог обернуться и узнать, кто этот человек. Мог, мог обернуться. И увидел бы его. Опять я провалил всю операцию.

Набросив на меня полотенце, мама изо всех сил растирает меня, и тут я обнаруживаю, что в кулаке у меня что-то зажато — тот предмет в рубчиках и бороздках, который я вынул из ящика за миг до появления незнакомца. Наконец-то я могу эту вещь рассмотреть; да, я не ошибся. Она

тоже промокла, как и моя одежда. Выхватив опознанный наконец предмет у меня из рук, мама бросает его на кучку мокрого белья, лежащую рядом на полу.

Он выглядит там вполне уместно: это длинный темно-синий шерстяной носок с большой, старательно заштопанной дырой на пятке.

Кит вертит носок в руках, изучая его со всех сторон. Я извлек его из маминой корзины с грязным бельем; теперь, когда носок высох, видно, что штопка чуть светлее остальной части, а стопа от ветхости и постоянной носки побурела. Кит выворачивает его наизнанку. Там не обнаруживается ничего, кроме нескольких катышков свалявшейся шерсти.

Мы сидим за накрытым к чаю столом; поблескивают высокие серебряные подсвечники и пепельница; это призы, завоеванные родителями Кита на чемпионатах мира по теннису. Я наблюдаю за манипуляциями с носком, и сердце у меня сжимается. Вот он, плод моих героических усилий, сокровище, за которым я отправился глухой ночью, чтобы положить к ногам друга. Отправился, разумеется, не за носком, а за чем-то совсем иным. Если бы на моем месте был Кит, все вышло бы по-другому. Вместо носка он нашел бы карту

или, может, чертеж какого-нибудь завода. Или шифровку. Уж только не носок. Да еще старый.

На темной полированной столешнице, под прямым взглядом дяди Питера с каминной полки бурая стопа и штопаная пятка кажутся особенно нелепыми.

— В ящике еще что-то лежало, — снова объясняю я. — Рубашки и всякое такое. Просто в ту минуту я случайно схватил носок. Когда услышал шаги.

Я уже говорил Киту про незнакомца и про лай собак в Закоулках. Но про то, что луна из-за туч потом вышла, не сказал. Не сказал, что я мог обернуться и при лунном свете разглядеть пришельца.

Кит чуть прикрывает глаза; опять у него отцовское выражение лица. Мой героический подвиг не обрадовал его и не произвел на него большого впечатления. И чему тут удивляться? Во всех наших затеях герой — он, а не я.

— Ты уверен, что он тебя не видел?

— Я же спрятался, — бурчу я, не глядя на Кита. — Мигом спрятался.

Теперь-то мне совершенно ясно: я все сделал неправильно.

— И ты даже не разглядел его толком?

— А как я мог? Я затаился.

Кит вертит в руках носок, явно недовольный то ли им, то ли мной, то ли нами обоими.

— Знаешь, что я подумал: может, это маскировка, — высказываю я робкое предположение. — Может, это обычная одежда, и положена специально для того, чтобы кто-то в нее переоделся? Если, например, они спустились на парашюте или как-то еще прямо в немецкой форме. Если вдруг они прячутся где-то в Закоулках.

Во всяком случае, ясно, что старый носок никак не может быть вознаграждением за тайком проданную ветчину или подарком от тети Ди какому-то воображаемому дружку. Да я и сам не очень-то верил в эти басни. А если б и верил, у меня язык не повернулся бы хоть словом обмолвиться о них Киту. Получилось бы, что я сплетничаю. А сплетничать нельзя. Тем более про тетю или родную мать человека.

Я поспешно хватаю носок и сую его под стол на колени: в комнату входит мать Кита.

— Не знаю, как Стивен относится к булочкам с изюмом, — говорит она, — но больше ничего достать не удалось.

Она улыбается с привычной, тщательно выверенной неопределенностью — нам обоим и

никому в отдельности, — давая мне понять, что все должно остаться, как было прежде. Но все ведь не так, не так! Я сжимаю под столом старый носок, который она положила в ящик для «икса», для немецкого парашютиста, и который я вынул оттуда, несмотря на ее приказ. Я не могу поднять на нее глаза. Моя горящая физиономия опять явно не в лучшем виде.

— Спасибо, — еле слышно роняю я.

Она выходит из комнаты, но у меня не хватает духу положить носок обратно на стол.

— Зачем ты вынул его из ящика? — недовольно допытывается Кит. Разговор о булочках ничуть не отвлек его от главного. — Они обнаружат пропажу и сразу поймут, что там побывал посторонний.

Я не отвечаю. Растолковать, каким образом носок оказался у меня в руке невозможно, без описания моего панического бегства, а если все же попробовать объяснить, почему я бросился наутек, придется рассказать про незнакомца, пыхтевшего у меня за спиной, и про то, что я, постыдно струсив, не обернулся, чтобы его разглядеть.

Я молча давлюсь булочкой.

— Надо бы сходить посмотреть, что там проис-

ходит, — говорит Кит.

Он произносит это с подчеркнутой сдержанностью. Значит, он снова взваливает на себя руководство, в том числе и тяжкое бремя ответственности за ошибки подчиненных.

Спохватившись, я делаю запоздалую попытку соблюсти соглашение с его матерью:

— Лучше не надо.

Кит снова приспускает веки.

— Это почему же? — интересуется он, а я, естественно, объяснить ничего не могу.

Он думает, что я испугался. Выходит, все мое проявленное ночью мужество он ни в грош не ставит.

— Просто мне кажется, лучше не надо, — неуверенно повторяю я.

Он решительно направляется к гостиной и, как обычно, легонько постучав в дверь, объявляет:

— Я ухожу со Стивеном играть.

Молчание; *она* обдумывает его слова. Я смотрю на нее из-за спины Кита: сидит за письменным столом, в руке ручка, рядом пресс-папье. Наверное, прикидывает, можно ли мне доверять и насколько — не нарушу ли я наш с ней договор и сумею ли удержать в его рамках еще и Кита.

— Стивен и я, — в конце концов негромко по-

правляет она.

Все-таки она мне доверяет.

— Стивен и я, — послушно повторяет Кит и отступает на шаг.

Я делаю шаг вперед и, соблюдая сложившийся ритуал, бормочу:

— Спасибо за компанию.

Она усмехается — возможно, просто оттого, что вновь слышит от меня эту фразу.

— Ну что ж, друзья мои, развлекайтесь. Только постарайтесь не бедокурить.

Этим она напоминает мне о нашем соглашении. Я бреду за Китом в конец Тупика, каждым своим шагом нарушая договор и ставя ее под удар; на душе у меня так скверно, как не бывало еще никогда.

На углу мы останавливаемся и осторожно оглядываемся: проверяем, не идет ли кто следом.

— Она писала письма, — говорит Кит. — Значит, вскоре опять отправится на почту.

Это и мне ясно. Только свернет не налево, а направо, а потом застанет нас у раскрытого ящика и убедится в моем предательстве. В гулкой темноте тоннеля я беспомощно плетусь за Китом по тропке между лужей и осклизлыми стенами, убеждая себя, что, раз мы ее опередили, значит,

слежку сейчас не ведем. Вот мы уже отгибаем проволочное ограждение и ползем сквозь дыру. В густой зелени у подпорной стенки — ничего, только слегка примятая трава говорит о том, что там лежал какой-то продолговатый предмет. Ящика нет как нет.

— Выходит, он тебя все же засек, — заключает Кит. — И они нашли другое место для тайника. Итак, теперь немцам известно, что мы про них знаем. Придется, голубчик, начинать все сначала.

Оттого, что он произносит это с отцовской интонацией и с отцовскими выражениями, от зияющей пустоты в зарослях травы и собственной никчемности у меня сжимается сердце.

— Прости, — смиренно выдавливаю я.

Я нарушил честное слово, и последствия будут самые плачевные. С минуты на минуту *она* явится сюда, чтобы сунуть в ящик очередную партию секретов. И обнаружит, что ящика на месте нет, а причина его исчезновения — я.

— Прости, Кит, — шепчу я. — Только давай лучше уйдем.

Но на лице Кита играет чуть заметная грозная усмешка. Сейчас меня наверняка ждет унижение за мою никчемность и за самонадеянные попыт-

ки доказать обратное.

— Выходит, *он тебя* видел, а *ты его* — нет.

От такой несправедливости у меня спирает дыхание. Кит ведь не представляет, каково мне тут пришлось глухой ночью, совсем одному! Он-то этого не испытал!

— Так темно же было, — пытаюсь объяснить я.

— Но ведь луна светила вовсю. Ты сам говорил.

— Не тогда.

— Когда не тогда?

— Когда он меня увидел. Когда я его не видел.

Едва слова слетают с языка, до меня доходит вся неубедительность такого ответа. Кит, усмехаясь, еще больше поджимает губы и еще тише цедит:

— На самом деле ты вовсе не затаился. Лицо только спрятал, да?

— Кит, пожалуйста, пойдем домой.

— Просто закрыл лицо руками. Чтобы ничего не видеть. Как Милли, когда играет в прятки. Как малолетний несмышленыш.

Подкативший к горлу душный ком растет, постыдные слезы застилают глаза. Нет сил сносить несправедливые упреки; Кита занимает только моя минутная слабость, хотя до нее я проявил редкостное мужество. Это просто нелепо! И как жестоко он отверг с таким трудом добытый тро-

фей, который я положил к его ногам! Но конечно же мои слезы лишь доказывают его правоту. Сквозь колышащуюся влажную пелену я вижу, что усмешка медленно сползает с лица Кита. Он отворачивается и пожимает плечами. Я ему уже не интересен.

— Давай, — роняет он. — Вали домой, если хочешь.

Чувствуя себя совершенно растоптанным, я, всхлипывая, ползу обратно к дыре в ограждении. Пытаюсь отогнуть проволоку, но от расстройства не могу даже с ней справиться.

И вдруг замираю. Стараясь подавить рыдания, прислушиваюсь.

Из тоннеля доносится слабое эхо приближающихся шагов.

Я ползу обратно к Киту и шепотом сообщаю:

– *Она* идет сюда.

Мы оглядываемся, ища, где бы спрятаться. Но шаги все ближе, совсем рядом… уже возле дыры в ограждении… Я съежился и приник лицом к земле, чтобы не видеть неминучей, настигающей меня страшной судьбы. Как Милли, когда она играет в прятки. Как малолетний несмышленыш.

Но шаги неспешно удаляются и затихают. До меня постепенно доходит, что конец света все-та-

ки еще не наступил.

— Быстрей! — шепотом командует Кит. — Она прошла дальше! В Закоулки!

Я привскакиваю. Кит уже сбегает по склону. Сгорая от несказанного стыда, я спешу вслед. И когда Кит поворачивается боком, чтобы пролезть под проволокой, я случайно замечаю у него на щеке зеленое пятнышко. Он тоже, как я, спрятал лицо в траве! Двое малолетних несмышленышей. На миг меня охватывает ликование: я реабилитирован! И я со всех ног бегу домой; но на полпути к тоннелю догадываюсь, что Кит свернул совсем в другую сторону, к Закоулкам.

Мы оба останавливаемся в изумлении. Кит намерен следовать за ней?! Ну конечно. Как же я сразу не сообразил!

Он ждет, что я повернусь и пойду за ним, но я стою на месте.

— Что? — чуть усмехаясь, спрашивает он. — Шавок испугался?

Я отрицательно мотаю головой, но не делаю ни шагу. *Не могу! Она* же взяла с меня слово. А объяснить это нельзя.

Так мы и стоим как вкопанные. Кит тоже не делает ни шагу. Без меня он туда не пойдет. Я испытываю прилив жалости и благодарности: ему

необходимо, чтобы я его сопровождал. Без меня игра не состоится. Без меня ему некому будет утереть нос своей храбростью.

Я медленно подхожу к Киту.

— Тогда поживей, — холодно бросает он, — не то нам ее не догнать.

Кит поворачивается и трусцой бежит вдогонку за матерью. Я стараюсь не отставать. На каждом повороте разъезженной дороги, у каждого просвета в пышных живых изгородях мы из осторожности замедляем шаг: а вдруг там притаилась *она*...

Наконец где-то впереди слышится собачий лай. Значит, она идет мимо «Коттеджей». Мы мчимся туда.

Летний день в Закоулках обыкновенно проходит в каком-то отупляющем зное и вялости. Даже невидимый мне поезд, прогромыхав над оставшимся сзади тоннелем, взбирается вверх по насыпи к выемке натужно и устало, словно и его одолевает душное летнее оцепенение. И прежде, всякий раз, когда мы решались выйти сюда на разведку, мне казалось, что мы попали в другой, более древний и пугающий мир. Шагая по извилистому проулку, я про себя отмечаю: вот знакомый платан, с ветки которого свисает

обрывок полусгнившей веревки… А тут глазу внезапно открывается лужок, заросший кислицей и щавелем… Вон длинная густая шеренга крапивы… одинокий заплесневелый башмак с полуоторванной подошвой… кресло, кверху ножками валяющееся в луже, там же мокнет высыпавшаяся из него набивка… А вот уже и «Коттеджи». И местные собаки.

Целых три пса: рваные уши прижаты к голове, глаза злющие, но, как и шерсть, разных цветов. Они исполняют перед нами привычный ритуальный танец, в котором чередуются ненависть и страх: свирепо бросаются на нас, тут же пугливо отпрядывают и снова кидаются вперед. Нам с Китом уже не до разногласий. Я встаю с ним плечом к плечу, вернее, за его спиной, стараясь укрыться самому и скрыть свой страх, а он смело поворачивается лицом к собакам, усмиряя их взглядом, и медленно, но неуклонно движется дальше; стараясь не отставать ни на шаг, я медленно и боязливо следую за ним.

За нашим продвижением бесстрастно наблюдают с полдюжины ребятишек разного возраста. Одни стоят перед своими «коттеджами», другие прямо на дороге или в крохотных садиках, заваленных ржавыми катками для белья и старыми

матрацами. Все, как один, чумазые, одетые в замызганные рубахи без воротничков и платья размеров на пять больше, чем нужно. Микробы на них явно так и кишат. Ребята не играют, не отзывают собак, даже не злорадствуют насчет нашего затруднительного положения — просто стоят совершенно неподвижно, будто века так простояли, и с каменными лицами наблюдают за нами, словно за представителями таинственного нездешнего племени. Словно на территорию жителей каменного века вторглись люди железного века или к австралийским аборигенам явились белые поселенцы.

Сквозь переполняющий меня страх пробивается тревожная мысль: а вдруг ключ от тайны в руках этих непостижимых и неприветливых существ? Может, они следят за всем, что происходит в Закоулках, так же как мы следим за всем в Тупике. Может, они видели, как «Икс» ходил то к тайнику возле тоннеля, то обратно в Закоулки. Но как расспросить об этом ребят, не понятно, потому что не понятно, как с ними общаться.

Кит проявляет полное пренебрежение и к собакам, и к ребятне. Он посматривает на «коттеджи» с чуть заметной жалостливой усмешкой, будто в этих хибарах никто не живет. Старательно

напуская на себя снисходительность, я делаю вид, что тоже их рассматриваю. Во всяком случае, отмечаю про себя, что домишки низенькие; некогда белая вагонка посерела, краска на стенах вздулась пузырями. На окнах рваные занавески, две входные двери непривычно маленькие. По обе стороны каждого «коттеджа» — по тщательно возделанному и засаженному огородику, а за ним непременно торчит маленькая покосившаяся будка: «баз».

Гнетущий взгляд угрюмых глаз тяготит меня не меньше, чем неотступное внимание собак. Тем же взглядом, соображаю я, они только что провожали мать Кита. И тут из глубин подсознания, с трудом пробиваясь, всплывает невероятная, но давно брезжившая мысль: *она* же где-то здесь, среди «Коттеджей». Вот какую тайну скрывают эти непроницаемые физиономии.

Одна из дверей распахивается, на пороге появляется мужчина в засаленной майке, он что-то жует, не закрывая рта.

Икс.

Он или нет?

Отбиваясь от собак, мы движемся вперед. Нет, не Икс, это исключено. Исключено, потому что… потому что если это он, то продолжать

расследование невозможно. Еще с немцами мы как-нибудь справились бы. Но с этими людьми — точно нет. Остается надеяться, что она прошла дальше. И действовать, исходя из этого.

Под пристальными взглядами людей и лай собак мы медленно продвигаемся вперед и наконец сворачиваем за угол, откуда нас уже не видно. Я уверен, что Кита тоже посещала та невероятная мысль, но ни один из нас о ней не обмолвился.

Мы снова усерднейшим образом обследуем каждый прогал в зеленой чащобе по обе стороны дороги. Проходим наполовину высохший пруд, куда мы раньше ходили за головастиками, потом небольшой заброшенный меловой карьер и луговину, на которой валяются сломанные повозки и бороны, уже изрядно заросшие бурьяном. Здесь проулок бесследно растворяется в огромном пустыре, лишенном всякой растительности; акр за акром тянется земля без деревьев и злаков, до войны размеченная под строительство, а потом заброшенная. Теперь на пустоши буйствуют сорняки. От планировавшихся тут проспектов и тупиков, круговых развязок и разворотов нет и следа — как от колесных гаек, исчезнувших с машины Китова отца, и от много чего другого. Война же идет.

— Куда теперь? — робко спрашиваю я, все еще не решаясь говорить во весь голос.

Кит оглядывает пустынное бурьянное море. Единственные признаки жизни — крохотные фигурки, копошащиеся на одном-двух дальних островках среди зеленых заплат огородов. С другой стороны далеко-далеко, словно невысокие утесы едва различимой суши, виднеются последние дома незавершенных улиц: там строительство и оборвалось. Нам приходится довольствоваться предположением, что откуда-то оттуда некий человек из ночи в ночь ходит по этому лунному ландшафту, чтобы проверить, нет ли чего нового в ящике из-под крокетного набора, и что мать Кита сейчас прошла точно по тому же маршруту, только в обратном направлении.

Но где именно у них причал на этом бескрайнем берегу?

— Наверняка тут есть тропка, — бормочет Кит.

Мы шарим в пыли там, где обрывается проулок. Между кустиков жесткой травы всюду проглядывает растрескавшаяся земля, точь-в-точь как лысина моего отца сквозь редкие пучки волос, — так что тропки есть везде и нигде. Мы здесь уже на краю света, и нас обоих вновь посещает одна и та же невероятная мысль: надо вернуться туда,

где *она* точно проходила, причем в последнюю очередь. Надо вернуться к «коттеджам».

Тем не менее мы мешкаем в этой невыразительной, безликой местности за пределами Закоулков. Ни один из нас не проронил ни слова про «коттеджи»; однако я знаю наверняка, что Киту идти туда тоже нож острый, потому что там даже у него ни на что не хватит смелости.

Место, в котором мы находимся, в обиходе называют «Сараи», хотя ни одного сарая тут нет; среди поросшего чертополохом запустения кое-где виднеются только кирпичные фундаменты и сплющенные листы рифленого железа — все, что осталось от давным-давно развалившихся ферм. Но и эти последние их следы начинают исчезать под дружной порослью бузины и россыпью битых эмалированных тазов с продавленными днищами. В прошлом году где-то здесь решил перезимовать один бездомный старый бродяга, но Норман Стотт утверждает, что его забрали в полицию. Мы копаемся среди старых кастрюль и сковородок, оттягивая возвращение к «коттеджам». Подобрав с земли камешек, Кит швыряет его в закопченный чайник, что валяется среди кустов бузины возле низкой полуразрушенной кирпичной кладки. В полной тишине чайник

отзывается громким звяканьем. Подражая другу, я тоже подбираю камешек и швыряю, но чайник молчит. На время мы нашли себе занятие. Кит бросает еще один камешек и попадает в цель. Я тоже бросаю — мимо.

В кустах какое-то движение. Кит, собиравшийся метнуть в чайник третий камень, опускает руку.

— Старый бродяга вернулся, — шепчет он.

Мы ждем. Больше никакого движения не заметно. Кит запускает камешком в бузину. И попадает в другой металлический предмет — по звуку во что-то более крупное и не такое полое, как чайник. Наверное, в лист старого рифленого железа, их тут полно валяется.

Кит крадется поближе. Я крадусь за ним.

Среди нескольких рядков щербатой кирпичной кладки виднеются ступени. Они ведут вниз, под землю, — то ли в тайный ход, то ли в остатки подвала. Кто-то накрыл кладку железными листами; получилось нечто вроде кровли.

— Он там, внизу, — шепчет Кит. — Я его слышу. Я прислушиваюсь, но откуда-то из-за деревьев доносится лишь внезапный перестук колес: это электричка прошла наконец длинную выемку позади дома Макафи. От этого бесцеремонного, будничнo-равнодушного громыхания сумрач-

ный лес кажется еще угрюмее. В нос ударяет кисловатый, отдающий кошачьей мочой запах бузины, и сразу невольно вспоминается податливая мягкость ни на что не пригодной бузинной древесины: в костре она не горит, а стоит попытаться что-нибудь из нее сделать, тут же ломается в руках. И бузина еще претендует называться деревом! Почему-то кажется, что ее оскорбительно низкое положение в иерархии деревьев странным образом соответствует тому унылому запустению, каким в конце концов завершается знакомый мир за пределами Закоулков. Мы прошли путь от высшей точки до низшей. От героев, чьи фотографии в серебряных рамках стоят у Хейуардов на почетных местах, мы спустились по социальной лестнице нашего Тупика: от Берриллов и Джистов к нам; от нас к Стибринам; а от убожества «коттеджей» и их жалких обитателей — еще ниже, к всеми отвергнутому старику, что укрывается под железным листом в вонючих зарослях бузины и не имеет даже паршивой шавки, чтобы тявкнула в его защиту. Даже «база», чтобы сходить в уборную.

И куда же он ходит? Наверное, прямо на землю, как звери. Я слышу тяжелый запах испражнений, мешающийся с запахом бузины. Чую, как распол-

заются оттуда микробы.

Стук колес уже замер вдали. И теперь я действительно что-то слышу. Кашель. Тихий, приглушенный кашель. Старик изо всех сил сдерживает его, чтобы мы не услышали. Боится. Боится Кита, боится меня. Вот как низко стоит он в человеческой табели о рангах.

И тут после проявленного в Закоулках малодушия я чувствую прилив храбрости. Оглядываюсь, ища орудие, с помощью которого я мог бы еще чуточку напугать бродягу.

— Ты что? — шепотом спрашивает Кит.

Я не отвечаю. Молча подхожу к груде старых кастрюль и сковородок, молча вытаскиваю гнутый ржавый железный прут. На этот раз руководить операцией буду я. И покажу Киту, что не он один умеет придумывать планы и разрабатывать программы действий.

Я дотягиваюсь прутом до рифленого железа и легонько стучу по листу у старика над головой. Негромкий кашель мгновенно смолкает. Бродяга готов скорее задохнуться, чем выдать себя.

Я стучу снова. Тишина.

Оглядевшись, Кит находит посеревшую от старости деревяшку, похожую на обломок заборного столба, и в свою очередь стучит по рифленому

листу.

Тишина.

Я стучу. Потом Кит. Ответа нет как нет. Старик по-прежнему сидит там, затаив дыхание.

Я со всей силы бахаю прутом по железному листу. Кит тоже бахает своей деревяшкой. Мы барабаним по железу, пока на нем не появляются вмятины. От грохота голова гудит, как котел, зато уже не надо размышлять над весьма неубедительным результатом нашей экспедиции и над перспективой возвращения в Закоулки. Грохот заполняет бесплодную ширь, в нем бушует человеческая решительность и энергия.

Если здесь шум стоит оглушительный, то каково же там, *внизу, под железным листом?* При этой мысли меня неволько разбирает смех. Тото будет потеха, когда перепуганный насмерть старик выскочит из своего укрытия! А мы сразу удерем в Закоулки.

Старик, однако же, из берлоги не вылезает, и в конце концов, обессилев от смеха, мы вынуждены бросить свое развлечение.

Бродяги все нет как нет. Никаких звуков, кроме поднятого нами шума и доносящегося из-за деревьев равнодушного стука колес. Но вот стук глохнет в железнодорожной выемке, и вновь

воцаряется полная тишина.

Мне вспоминается, как однажды Дейв Эйвери вместе с мальчишками с соседней улицы заперли бедного Эдди Стотта в темном сарае, что стоит в огороде у Хардиметов, и принялись колотить по крыше. Вспоминаются дикие, животные вопли ужаса бедняги Эдди.

Но тишина под железным листом кажется даже более дикой. Ни крика, ни проклятия, ни вздоха.

Смех замирает у нас на губах. Сердце у меня вдруг холодеет от страха, и я не сомневаюсь, что Кит испытывает ровно то же самое.

Но старик не умер. Да и с чего бы ему умереть? Люди же не умирают оттого, что над ними немножко подшутили!

От страха, правда, умирают…

Кит отбрасывает свою деревяшку. Я отбрасываю свою железяку. Нам не очень понятно, что делать дальше.

Почему же мы не спускаемся по ступенькам вниз и не заглядываем в подвал? Потому, что духу не хватает.

Внезапно мы дружно поворачиваемся и мчимся прочь; впервые среди нас двоих нет ни лидера, ни ведомого.

Мы несемся со всех ног, без передышки, и

только бросающаяся навстречу собачья свора да пристальные взгляды мальчишек заставляют нас замедлить бег. Даже когда «Коттеджи» уже позади и лай собак стих за спиной, мы не обмениваемся ни словом. Молча идем мимо заплесневелого башмака, мимо крапивы и лужка, поросшего щавелем и кислицей, мимо платана, с которого свисает обрывок веревки, покуда не выбираемся из этого раскинувшегося за тоннелем непостижимого древнего мира.

Молча шагаем по Тупику. Теперь мы молчим потому, что смятение и страх улеглись, и мы оба думаем про старого бродягу. Про него, незримого и неслышного, который готов был скорее умереть, чем высунуть из укрытия нос или выдать себя хотя бы звуком. Неизвестный, так и оставшийся неизвестным. Искомое в уравнении, которое еще предстоит найти. Икс.

Мы подходим к дому Кита. У калитки стоит его отец в форме ополченца местной обороны.

— Мама до сих пор не вернулась от тети Ди, — раздраженно бросает он сыну. — У нас сегодня вечером смотр. Ужин — раньше обычного. Забыла она, что ли?

Мать Кита, стало быть, еще не вернулась. Значение этого факта доходит до меня не сразу. И

вдруг в животе что-то обрывается. Я кошусь на Кита. Та же самая мысль пронзает и его; он заметно бледнеет. Затем перехватывает мой взгляд и отводит глаза, которые внезапно становятся мутными и безразличными. На серых губах змеится невеселая отцовская усмешка.

— Сбегай-ка, напомни ей, — говорит Киту отец. Я не могу даже посмотреть на Кита. Не могу представить себе, что он будет делать и что говорить.

— Ладно, не ходи, — роняет мистер Хейуард. — Вон она идет.

Мы дружно уставляемся на нее. Она шагает по Тупику с корзиной для покупок. Только на этот раз она очень торопится, почти бежит.

— Прости, пожалуйста, Тед, — с трудом переводя дух, произносит она наконец. — У тебя ведь смотр, я помню. Ходила в «Рай». Все обошла — хотела купить к выходным кролика. Не повезло. Обратно бегом бежала.

Кит молча поворачивается и идет к дому.

— Короче, чтоб через десять минут ужин был на столе, — говорит мистер Хейуард. — Ясно?

И вслед за сыном направляется к дому. При каждом шаге на ягодице подпрыгивает знаменитый штык в чехле.

Прикрывая за собой калитку, мать Кита взгля-

дывает на меня. Мгновение стоит совершенно неподвижно, пытаясь отдышаться и прикидывая, как со мной обойтись.

— Это вы там были? — тихо спрашивает она.

Я отвожу глаза.

— Ох, Стивен! — печально роняет она. — Эх ты!..

7

Итак, насколько же в ту минуту Стивен понимал, что происходит?

Стоя перед «Медоухерстом» — унылой новостройкой, выросшей там, где когда-то была ничейная, буйно заросшая травой и кустарником земля под названием «Бреймар», — я не свожу глаз с кадки с геранями, второй слева на площадке для машин. Кадка, сколько я могу судить, стоит на том самом месте, где часами просиживал в укрытии Стивен уже после похода в Закоулки. Кит с тех пор ни разу не вышел играть, а Стивену не хватало духу постучаться к ним — так он волновался, не зная, что там, у Хейуардов, происходит. И сидел в тайнике один-одинешенек, прямо на голой земле, теперь скрытой под булыжным покрытием. А голова была, вероятно, как раз на уровне этих алых гераней.

Я озадаченно разглядываю цветы.

Из окна гостиной за мной не менее напряженно и сосредоточенно наблюдает мальчик. Ему примерно столько же лет, сколько было тогда Стивену, и он пытается вычислить, какие

мысли теснятся в голове у старика, который с таким исступленным вниманием рассматривает кадку с мамиными геранями. До него доходит, что никогда прежде он меня в Тупике не видел. Ему сразу припоминаются разные истории: про воров, укравших из соседнего сада расписную ванночку для птиц; про жуткие привидения, с простертыми руками слоняющиеся где-то на границе знакомого мира; про торговцев вразнос, с которыми нельзя даже вступать в разговор и надо непременно отказываться от всех ужасно соблазнительных штучек, которые они предлагают; про взрослых, обожающих мучить маленьких детей, про бродячих убийц, наугад выбирающих жертву…

Я не обращаю на него внимания. Я все еще размышляю о той голове, что возвышалась как раз над кадкой с геранями. Труднее всего осознать, что это та самая голова, что сейчас сидит на моих плечах и размышляет об этом, — однако о том, что на самом деле в ней тогда происходило, я знаю ничуть не больше, чем этот мальчик за оконной занавеской — о том, что происходит в моей нынешней голове. В голове Стивена, полагаю, царит полная сумятица, в ней причудливо сплетаются и переплетаются будоражащие душу воспомина-

ния и тяжелые предчувствия. В ушах звучит гром ударов по черному железу и наступившая затем тишина; вот всплывает лицо матери Кита, выражение ее глаз, когда она обернулась к Стивену у калитки и негромко произнесла свой вопрос; иксы и восклицательные знаки; поцелуи во время затемнения. Полагаю, его голова не забыла о наступлении безлунных ночей.

Впечатления… страхи… Но что же Стивен из них *извлек?* Что он на самом деле *понял?*

И что понимаю я? Теперь?.. В чем бы то ни было?.. Даже в простейших вещах, которые вижу своими глазами. Что я понимаю про эти герани в кадке?

Только то, что это герани в кадке. В биологических, химических и молекулярных процессах, скрывающихся за вызывающе ярким алым цветом, и даже в экономических и коммерческих условиях, обеспечивающих сбыт растений для цветников, или в социологических, психологических и эстетических причинах разведения герани вообще и данных гераней в частности я практически не понимаю ничего.

Но это мне и не нужно. Я просто бросаю взгляд в ту сторону, и в общем и целом мне все ясно: передо мной герани в кадке.

Впрочем, раз уж зашла об этом речь, я теперь совсем не уверен, что на самом деле понимаю значение слов *понимать что-то.*

Если Стивен понял хотя бы самую малость в происходивших тогда событиях, то уразумел он, наверное, вот что.

Он не оправдал доверия и страшно подвел мать Кита: каким-то непонятным образом он только все дело испортил; мир гораздо сложнее, чем предполагал Стивен; и теперь *она* оказалась в таком же затруднительном положении, в такой же глубокой тревоге, как он сам, когда не знал, что ему думать и как действовать.

Не сводя глаз с гераней, я задаю себе один простой, но самый существенный вопрос: Стивен все еще думал, что она — немецкая шпионка?

Я напрягаю память, и мой взгляд теряет фокусировку; герани сливаются в сплошное алое пятно.

Насколько я, наследник мыслей Стивена, могу судить по обрывочным данным, он этого не думал, но не думал и обратного. Поскольку рядом не было Кита, который сказал бы, что и как про это думать, Стивен перестал об этом думать вообще. Вы же не предаетесь целыми днями размышлениям о том, *так ли* обстоят дела или *эдак,* и не спрашиваете себя постоянно, понимаете вы ход

событий или нет. Вы принимаете все, как оно есть. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что эти цветы передо мной — герани, однако не обмозговываю же я, в самом деле, такие мысли: «Эти цветы — герани» или «Это не настурции». Поверьте, мне есть, о чем поразмыслить.

Позвольте мне иначе подойти к делу. Позвольте мне задаться даже еще более простым вопросом: чем же *она*, по мнению Стивена, *занималась?*

Не уверен, что даже об этом он размышлял столь четко и определенно. Чем, по его мнению, занимался мистер Макафи, когда, облачившись в форму специального констебля-добровольца, уходил куда-то на выходные? Если такой вопрос вообще когда-нибудь приходил Стивену в голову, он просто-напросто думал, что мистер Макафи продолжает заниматься тем же, чем занимается, когда ездит на велосипеде по улицам, — исполняет работу специального констебля. А чем, на взгляд Стивена, занимался мистер Горт? Ну, он-то, будучи убийцей, естественно, убивал людей. Я не могу припомнить, чтобы Стивен хоть раз задумался над тем, кого мистер Горт убил и за что? А чем занимался отец Стивена? Он утром исчезал, а вечером появлялся вновь. То исчезал, то появлялся — практически только так и можно

описать его деятельность.

Если на то пошло, чем же все-таки занимаются шпионы? Они ведут себя подозрительно. Вот и мать Кита вела себя подозрительно. Разве этого недостаточно?

Во всяком случае, главной тайной, вокруг которой и клубится одновременно множество версий, теперь стал Икс, неслышный и невидимый некто, скрывающийся в «Сараях». Что Стивен думал о *нем?*

Он считал его немцем. И чем менее явными становились немецкое происхождение или связи матери Кита, тем более решительно они приписывались ее связному или начальнику. Проницательный Кит первым подметил неладное и заговорил о пронемецких связях, которые и стали главной причиной всех последующих событий. Подобно вере в Бога, укореняющейся глубоко в душе, несмотря на постоянные сомнения в тонких богословских постулатах, эти пронемецкие связи стали для Стивена единственной надежной опорой, за которую он цеплялся.

Но в то же самое время Стивен считал *его* бездомным стариком, поскольку поселился *он* там, где обычно ютились бродяги.

Получается, Стивен считал старика немецким

бродягой?

Вовсе нет. Мысль о том, что по округе шатаются старики-бродяги немецкой национальности, ему в голову не приходила. Как я понимаю, в разных уголках его сознания существовали две несвязанные друг с другом идеи: некто незримый, прячущийся в «Сараях», — немец, но он же одновременно и совсем другой человек, старик-бродяга.

Впрочем, подозреваю, что третьим уголком сознания Стивен безотчетно связывал немца и старого бродягу воедино. Таким связующим звеном, делавшим оба эти суждения чуть более совместимыми, была идея *немоты.* Поскольку немцы, естественно, говорят только на своем языке, а на других, нормальных языках они немы, их немцами и зовут; и старик-бродяга никак не отозвался на поднятый тарарам именно потому, что он злобный и коварный *немец.*

Верил ли Стивен, что эта двусмысленная фигура является еще и таинственным дружком тети Ди, как внушала ему Барбара Беррилл, или что мать Кита целовала бродягу под железными листами? Нет. Подобные предположения казались ему совершенно нелепыми. Даже если тетушки и заводят себе дружков, то уж точно не из дряхлых

побродяжек. Даже если кто-то кого-то и целовал во время затемнения, то уж точно не поганых немых немцев.

И все же в сознании Стивена, в сокровенных его глубинах, подобно легчайшему аромату, витал почти неслышный отзвук слова «дружок», едва уловимый след поцелуев украдкой.

Мне кажется, ему больше всего хотелось, чтобы сумятица в голове улеглась, чтобы никаких новых событий не происходило и все стало, как было раньше. Невинный и простодушный шпионаж, суливший столько радости, обернулся отвратительной неразберихой. Вот бы пришел Кит с совершенно новой, потрясающей затеей, которая вытеснит прежнюю у них из головы.

Но Кит не приходил, предоставляя Стивену сидеть и размышлять в одиночестве.

Здесь, кстати, и крылся другой повод для беспокойства: что случилось с Китом?

Стивен не раз решал про себя: сейчас он пойдет и как ни в чем не бывало постучит в дверь Китова дома… Словно по волшебству, дверь тут же отворялась, но на пороге появлялся вовсе не Кит, а его мать. Стивен сразу вспоминал ее невысказанный упрек, ее печальное «Эх ты, Стивен!» и оставался на месте — ждать Кита.

Я поднимаю глаза и внимательно смотрю на наблюдающего за мной мальчика. Как-то *он* разобрался в причинах своей тревоги? Но мальчик исчез; наверняка побежал докладывать обо мне матери. Она сию минуту явится — посмотреть, в чем дело, — и, увидев, что я заглядываю в окна ее гостиной, немедленно позвонит в полицию, как в далеком прошлом позвонила миссис Хардинг, заметив в Тупике таинственного злоумышленника.

Я иду прочь по тротуару, затем снова перехожу мостовую… Вот и дом Кита.

Естественно, ровно то же самое сделал в конце концов и Стивен. Что ж ему еще оставалось?

К тому времени, впрочем, события начали понемногу отступать в прошлое; так оно ведь всегда и происходит. Ничего нового не случилось. Быть может, все на самом деле уже стало, как прежде?..

Я опасался не напрасно: дверь открывает мать Кита. У меня не хватает духу взглянуть ей в лицо, потому что все мое мужество ушло на то, чтобы дойти до их двери и постучать; но вроде бы она улыбается мне с прежней безмятежностью.

— Здравствуй, Стивен, — говорит она, по-моему, без тени упрека. — Давненько ты у нас не был.

— А Кит выйдет играть? — не поднимая глаз, выдавливаю я традиционную фразу.

Мгновение она колеблется. Затем, обернувшись к верхней площадке лестницы, зовет:

— Кит, солнышко! Это Стивен!

И одаряет меня еще одной улыбкой:

— Может, поднимешься к нему, Стивен? Он прибирается в детской.

Я вхожу в дом, и меня вновь обступает знакомый незыблемый порядок вещей: вешалка с одежными щетками и рожками для обуви… стойка для тростей и зонтов… акварель с видом на долину Троссакс… пагоды… Откуда-то снаружи доносится бесконечное соло для собранных в трубочку человеческих губ; соло то ближе, то дальше, в зависимости от того, куда перемещается по садовым делам отец Кита. Под взглядом матери Кита я взбираюсь по знакомой лестнице. Старинные часы бьют четверть.

Да, все как прежде.

Сидя на полу, Кит складывает в коробку конструктор, каждую деталь — в предназначенное для нее отделение.

— Смотри, голубчик, не наступи, — метнув на меня взгляд, говорит он.

Я сажусь на пол напротив него. Он молча про-

должает укладывать конструктор, будто нет ничего удивительного в том, что меня столько времени не было, а теперь я снова тут. Наверно, хочет этим сказать: никаких необычайных событий, собственно говоря, не приключилось. Дает мне понять, что игра окончена. Обнаружилось, что вопрос о шпионской деятельности его матери, казавшийся прежде неотложным, решить не так-то просто. А потому его убрали в архив и забыли, как случалось с многочисленными другими вопросами, в свое время казавшимися совершенно безотлагательными. Ни Кит, ни я больше ни разу о нем не вспомним. Все-таки Кит нашел способ положить конец всем неприятностям и тревогам. Я так и знал!

Я вдыхаю милые, знакомые запахи: от фланцев и стоек конструктора исходит бодрящая свежесть металла, от коробки пахнет чистым новым картоном; в носу щекочет от резкого, пьянящего запаха клея, на котором держатся крылья самолетика, и от запаха ацетонового растворителя для красок, которыми нанесена маскировка; солидно и сдержанно пахнет светлое машинное масло, которым смазаны многочисленные подшипники в многочисленных модельках и моторчиках.

— Давай прокладывать железную дорогу даль-

ше, — предлагаю я. — Построим над тем ущельем путепровод, хорошо?

Я даю Киту понять, что мне все ясно. То есть я готов верить, что мы не вслушивались в жуткую тишину у подвала, что отметки в дневнике ровным счетом ничего не значат и что безлунные ночи наступят и пройдут без происшествий. Иначе говоря, я обещаю Киту, что, как и он, ни словом не помяну тех событий и с радостью принимаю его решение, понимая, что игра окончена.

Кит продолжает укладывать стойки к стойкам и фланцы к фланцам. Безупречный порядок, царящий в комнате, постепенно становится еще безупречнее.

— Когда это закончу, буду чистить крикетное снаряжение, — роняет Кит.

Я наблюдаю за ним. Он, разумеется, пропускает мимо ушей мое заурядное предложение насчет путепровода — ведь оно исходило от меня, а не от него. Вот сейчас, откуда ни возьмись, у него в голове родится совершенно новый замысел. Кит поведет нас на новые приключения, и мне страстно хочется узнать, на какие именно.

Раздается негромкий стук в дверь, в детскую заглядывает мать Кита:

— Я хочу забежать на минутку к тете Ди. На-

деюсь, друзья мои, вы без меня тут ничего не натворите.

Все опять стало на свои места; она, как всегда, забежит к тете Ди.

После ее ухода Кит не произносит ни слова. Вдумчиво работает, не поднимая глаз. Все его внимание, да и мое тоже, сосредоточено на привычной обыденности ее поступков. Он целиком поглощен одной мысленной картиной: *она* шагает по дорожке, направляясь к дому тети Ди, а не сворачивает за угол в конце Тупика, не идет по тоннелю и не скрывается дальше в Закоулках.

Все опять, как обычно. Но в глубине души каждый из нас понимает, что заведенный порядок переменился, и переменился навсегда. Игра окончена, потому что обыденное разрослось и поглотило необычное. Наша история пошла по другому пути — как изменивший курс корабль: дальше он плывет прямо, вроде бы не сбиваясь, да только плывет он теперь в другой порт и нас на борту уже нет.

Кит убирает коробку с конструктором на место, достает из шкафа крикетные щитки и туфли. Я тоже спускаюсь во двор и наблюдаю, как Кит, постелив газету, раскладывает на ней снаряжение. Из задней двери гаража, что стоит на противо-

положной стороне двора, долетает целый букет знакомых запахов: пахнет опилками, моторным маслом, чисто выметенным бетонным полом, автомобилем. Лампа в гараже висит над самым верстаком, и по стенам, на которых аккуратно развешаны теннисные ракетки и прочие предметы довоенного быта Хейуардов, мечется, словно людоед-великан по пещере, гигантская тень отца Кита и свистит, свистит…

На моих глазах поверх серых пятен (грязи) и зеленых (травы) ложится идеально белая полоса. И до меня доходит, что никакого нового плана, никакой новой игры не будет. Изменившийся порядок вещей их не предусматривает. Закончилась, однако, не только эта игра; всем нашим играм конец. Я — соучастник преступления; точно очертить его не легче, чем определить границы пятен от грязи и травы, но сейчас его усердно забеливают, и меня заодно тоже.

— Ужин небось скоро, — уныло говорю я. — Мне, наверно, пора домой.

— Ладно, пока.

Влажно поблескивает еще одна белоснежная полоса. Но я все медлю.

— Ты завтра выйдешь играть?

— Не знаю. Посмотрю.

Внезапно Кит настораживается. Свист в гараже прекратился. Я оборачиваюсь. В дверях стоит отец Кита и наблюдает за нами, на губах знакомая, чуть раздраженная усмешка.

— Термос, — бросает он.

Обращаясь, естественно, к Киту. Как всегда, его отец не подает виду, что заметил мое присутствие. Я смотрю на Кита. Он заливается краской. По отцовскому тону он понимает, что совершил преступление, и уже чувствует себя виноватым — виноватым вдвойне: ему следовало бы самому догадаться, в чем его преступление, а он не может.

Отец ждет. Кит багровеет еще больше.

— Ну же, голубчик, — нетерпеливо бросает его отец, и меня охватывает страх и за себя, и за Кита. — Термос. В корзине для пикников. Кто тебе разрешил его взять?

Кит опускает глаза.

— Я его не брал.

— Брать без разрешения чужие вещи — все равно, что красть, — снова чуть усмехается его отец. — Тебе же это известно. А говорить, что не брал, когда взял, — значит лгать. Так?

Кит не поднимает глаз. В гнетущей тишине висят непроизнесенные слова: «Наверно, его мама

взяла», но их слышат только двое, Кит и я.

— В таком случае, голубчик, где он?

Снова тишина длиною в три слога: «в „Сараях“».

— Не идиотничай. В игрушки, что ли, играешь? Будь мужчиной и признайся.

Опять молчание, отягощенное теми же фразами, дважды не произнесенными ни Китом, ни мной.

— Я тобой недоволен, — объявляет его отец.

Теперь усмешка становится еще жутче, в ней сквозят печаль и сожаление. И я догадываюсь, что на самом деле он подозревает меня: это я взял термос. А Кит меня выгораживает.

— Ты же, голубчик, прекрасно знаешь, что тебе за это будет. Вымой руки. Обсуши их хорошенько.

Он идет в кухню, вытерев перед дверью ноги.

— Лучше уйди, — говорит мне Кит.

Лицо его по-прежнему пылает, глаза упорно смотрят в землю.

Вслед за отцом он направляется в кухню, тоже вытерев предварительно ноги; слышится плеск воды в раковине: это Кит, готовясь к наказанию, смывает с рук белый очиститель.

Я бы охотно ушел, как велел Кит, но не могу,

потому что тогда надо войти в дом и там снова столкнуться лицом к лицу с его отцом. Я обязан предотвратить неизбежное. Обязан сказать мистеру Хейуарду, что он прав: термос взял *я*.

Так оно, вообще говоря, и было. Ведь я обманул ее доверие. Вынудил ее пойти в «Сараи». Там происходит что-то ужасное, и виноват в этом я. Игра не окончена. Она просто стала куда страшнее.

Из дома не доносится ни звука. Я должен пойти и сказать.

Тишина все длится и длится. Я должен!

Из кухни выходит отец Кита и скрывается в гараже. Свист возобновляется.

Появляется Кит. Его красное лицо пошло пятнами. Кисти рук зажаты под мышками.

— Я же сказал, голубчик, лучше уйди, — отрывисто говорит он.

— Прости, — смиренно бормочу я.

Я прошу прощения за то, что не ушел, что не признался в преступлении, за то, что он стоит передо мной в таком виде, а я сейчас уйду и оставлю его, за жгучую боль в руках — за все.

Из гаража снова выходит его отец.

— Поразмысли об этом до ночи, — говорит он Киту. — Если до той поры термоса на месте не будет, получишь новую порцию. А завтра еще

добавлю. И так каждый день, пока термос не объявится, где положено.

Мгновение он медлит в дверях, опустив глаза и думая о своем.

— А твоя мать снова у тети Ди? — в конце концов спрашивает он совсем другим тоном.

Кит кивает.

Легкая усмешка вновь появляется на лице мистера Хейуарда. Он входит в гараж. Вот зажужжал точильный круг, полетели снопы искр. Что он там точит, не видно, но мне не нужно видеть, я и так знаю. Штык, тот прославленный штык.

Я со всех ног бегу в конец Тупика, едва ли ясно представляя себе, что предприму — просто сознаю, что обязан сделать *хоть что-то.* Чтобы немного загладить наконец свою несостоятельность и предательство. Надо сделать что-то смелое и решительное, чтобы спасти Кита от его отца и предотвратить надвигающуюся катастрофу, хотя что это за катастрофа, я и сам не знаю.

А первейшая моя забота — чтобы еще до вечера термос лежал в корзине для пикников и Кит не получил очередную взбучку. Я сворачиваю к тоннелю. Наверно, побегу по направлению к «Сараям». Навряд ли, впрочем, я планирую добежать до самых «Сараев». Видимо, рассчитываю, что

мне повезет и я встречу ее на полпути.

Мой план срабатывает еще до того, как я сам успеваю его осознать. Из яркого солнечного дня я влетаю в гулкую тьму тоннеля и с разбегу врезаюсь в спешащего навстречу человека. Мы хватаемся друг за друга, моя физиономия утопает в мягких персях, мы топчемся, будто танцоры танго, рискуя оступиться на илистом берегу огромной подземной лужи. Лавируя, тянем друг друга то к осклизлой стене, то к воде. И когда наконец выбираемся с темной танцплощадки в залитый солнцем мир, от спокойного достоинства матери Кита уже нет и следа.

— Стивен! — вскрикивает она и нагибается, чтобы подобрать и поскорее сунуть в корзину упавшие в грязь одежду и книги.

— Термос! — выпаливаю я.

— Я тебе что велела, Стивен? — говорит она так же сердито, как в тот вечер, когда впервые запачкалась тоннельной слизью. — О чем я тебя просила? Зачем ты это делаешь?

— Термос, — в отчаянии повторяю я.

— Ты очень нехороший мальчик, Стивен. Я на тебя очень сердита.

— Да термос же!

Наконец мои слова до нее доходят. Она при-

стально смотрит на меня и совсем другим тоном спрашивает:

— Что ты хочешь сказать? Что случилось?

Но я немею совсем: меня сковывает один щекотливый момент социальной семантики. С чего начать рассказ о том, что случилось? Ведь я не знаю, как именовать главное действующее лицо. «Отец Кита»? Не могу же я так его называть, обращаясь к матери Кита! У него с ней более непосредственная связь. На ум приходит слово «муж». Можно сказать «ваш муж»? Нет, это произнести еще труднее. «Мистер Хейуард»? Хуже некуда.

Но она уже догадалась сама и тихо спрашивает:

— Тед что-нибудь говорил про термос?

Мне остается только кивнуть, и она догадывается об остальном.

— Неужели он решил, что его взял Кит?

Я киваю.

Она прикусывает губу. Ее карие глаза пристально смотрят на меня.

— Уж не наказал ли он его?

Я киваю.

— Побил?

Я опять киваю.

Она морщится, как будто ее собственные руки

горят от боли.

— Ох, Стивен! — говорит она, как в тот раз. — Ох, Стивен!

Раньше она вообще не называла меня по имени, зато теперь произносит его чаще всех прочих взрослых, вместе взятых.

— И он велел Киту положить термос обратно? — негромко спрашивает она.

— До ночи, — выдавливаю я.

Она смотрит на часы и направляется назад, в тоннель. Ее светлое летнее платье испещрено пятнами зеленоватой слизи, светлые летние босоножки чавкают по грязи. Я очень старался сохранить ее тайну, и моими же усилиями эта тайна теперь видна любому, только слепой не заметит.

Мать Кита останавливается и оборачивается.

— Спасибо, Стивен, — смиренно произносит она.

8

Что же теперь будет?

Каждый вечер после школы я иду на наш наблюдательный пункт, вдыхая по дороге волнующие душу сладкие ароматы, которыми в разгар лета полон воздух нашего Тупика: от переплетенных лип перед домом Хардиментов, от кустов жимолости перед домами мистера Горта и Джистов приятно веет наивной сладостью; от соцветий будлеи, свисающих над тротуаром у Стоттов и Макафи, — густым приторным дурманом; от штамбовых роз Хейуардов — тонкой, хрупкой изысканностью. Я залезаю в укрытие и сижу один, беспомощно глядя на фасад Китова дома.

Одно я знаю наверняка: теперь мне действительно навсегда заказан вход в этот упорядоченный мирок. Никогда больше не слышать мне перезвона часов, не есть шоколадной пасты в столовой, где поблескивает начищенное серебро. Семейство замкнулось в себе. Раза два я вижу, как подрагивает задернутая от солнца занавеска да еще как миссис Элмзли, направляясь домой,

выводит из задней калитки велосипед. Иногда мимо нашего дома проезжает после школы Кит или ведет велосипед во двор. Однажды из-за дома появляется отец Кита со шлангом в руках и, непрерывно насвистывая, поливает палисадник. Но — никаких признаков присутствия матери Кита.

Что-то там у Хейуардов происходит. Я наполовину уверен, что со дня на день к их дому подкатит на велосипеде полицейский, как тогда подкатил к дому тети Ди. Но на другую половину уверен, что вообще ничего не произойдет.

Ничего и не происходит. Значит, *она* просто затаилась, ждет безлунных ночей, чтобы возобновить свои занятия? У меня такое чувство, будто мне предоставлено в одиночку решить судьбу мира. И я понимаю, что нужно кому-нибудь об этом рассказать. Взрослым, конечно. Пусть они разберутся. Но рассказать-то что? Все, что происходит. Но я же не знаю, что на самом деле происходит!

И кому из взрослых рассказать? Мистеру Макафи? В свое время мы написали ему про мистера Горта. Я представляю себе, с каким выражением лица мистер Макафи — как в прошлый раз — взглянет на детский почерк, даже при том, что

сейчас его фамилия будет написана без ошибок, и у меня опускаются руки.

Родителям или брату? Мама готовит ужин; я болтаюсь на кухне, норовя придвинуться к маме вплотную, поскольку не уверен, что мне удастся выдавить из себя хоть слово.

— В чем дело? — раздражается она. — Чего ты вертишься под ногами? Что тебе нужно?

Я ретируюсь в спальню. Там, сидя над раскрытой тетрадкой для домашних заданий, брат оттирает пемзой никотиновую желтизну с пальцев — пока мама не заметила.

— То туда, то сюда! — сердится он. — Перестань мотаться! Я же пытаюсь работать. Ты мне чертовски мешаешь сосредоточиться.

А уж отцу… Незачем даже ждать его возвращения с работы, я заранее знаю, он скажет только: «Шник-шнак!»

Воображая, как буду произносить необходимые слова, я уже слышу собственный трусливый шепоток. Сплетня получится, больше ничего. Мы уже попусту наябедничали на мистера Горта. Но тогда это была, в общем, неправда, а теперь-то ведь правда! *Возможно,* правда. Выходит, ябедничать — хуже, чем шпионить? Хуже, чем позволять кому-то ставить под угрозу жизнь наших солдат

и моряков?

И наших летчиков. Мне живо вспоминается дядя Питер: вот он стоит с Милли на руках у калитки и весело смеется, а мы все толпимся вокруг, трогаем вышитые под орлом листья и крохотные красные бархатистые ромбики в короне… Теперь мы, наверное, уже никогда не дотронемся до той вышивки, до тех красных пятнышек, потому что я позволил немцам сбить дядю Питера…

Я вырываю из тетради лист. Вывожу «Дорогой мистер Макафи» и останавливаюсь. Может быть, лучше обойтись без прямых обвинений и прозрачных намеков, а просто описать то, что я видел?.. Пусть сам решает, как все это нужно понимать. «Я видел мать Кита Хейуарда. Она что-то клала в ящик возле тоннеля, а я заглянул внутрь, и там был носок…» Я рву написанное. «Старый бродяга опять живет в „Сараях“, только он немец, и там с ним была мать Кита Хейуарда…»

У меня вспотели ладони. Сплошные сплетни, как ни крути.

И вот я сижу один под кустами, в напоенном ароматами воздухе, наблюдаю и жду. Я даже подзываю проходящую мимо собаку Стоттов и придумываю, чем бы ее заинтересовать, чтобы побыла рядом подольше. Я так увлечен при-

маниванием пса, что не сразу замечаю уже пробравшуюся в тайник Барбару Беррилл.

— Я всегда точно знаю, тут ты или нет, — говорит она.

На душе у меня настолько тоскливо, что я даже не гоню ее, лишь молча тереблю сухой прутик. Барбара усаживается рядом, на шее у нее по-прежнему болтается синий школьный кошелек с синей защелкой — с ума можно сойти!

— Ты в последнее время один да один, — замечает Барбара. — Раздружился, что ли, с Китом?

Отвечать на ее вопрос я, естественно, не намерен; к тому же, по закону подлости, именно в эту минуту кухонная дверь у Хейуардов открывается, выходит Кит и направляется через сад к калитке. У меня дважды сильно екает сердце, первый раз от радости, а второй — от страха.

— Не бойся, — шепчет Барбара. — Он не сюда. Он идет за покупками.

Чушь несусветная. Кит еще ни разу в жизни не ходил за покупками. Но когда он, прикрыв за собой калитку, поворачивается, я вижу у него на руке корзину. Он шагает по улице, даже не покосившись в сторону тайника.

— Теперь он всегда ходит в магазин вместо своей мамы, — шепотом объясняет Барбара Беррилл.

— И для миссис Трейси тоже покупает.

Кит проходит в калитку и стучит в дом тети Ди. Неожиданно я чувствую себя уязвленным. Во мне проснулась дурацкая ревность: почему Барбара Беррилл знает про новые занятия Кита, а я нет?

Дверь распахивается, на пороге улыбающаяся тетя Ди. Она протягивает Киту клочок бумаги. Очевидно, ждала племянника.

— По-моему, там что-то случилось, дело явно нечисто, — произносит Барбара Беррилл. — Раньше миссис Хейуард то и дело забегала к миссис Трейси. А теперь не ходит к ней вообще. Почему? Поссорились, что ли?

Я не имею ни малейшего понятия. Но что бы там ни произошло, виноват во всем я. Теперь вместо ревности меня захлестывает чувство вины.

— Да ты, видно, теперь не знаешь, что творится у Хейуардов? — спрашивает Барбара. — Больше к ним не ходишь, да?

Мало того, что она воткнула мне нож в сердце, так еще и поворачивает!.. Но я решаю не обращать внимания и не спускаю глаз с тети Ди. Вместе с Китом она проверяет подготовленный список продуктов, что-то заменяет, кое-что вносит.

— Может, у миссис Хейуард тоже завелся дружок, как у миссис Трейси, — фыркает Барбара

Беррилл, прикрывая ладошкой рот.

Я чувствую на лице ее взгляд, она следит, не взмокну ли я снова от смущения, но никакими гнусными намеками меня больше не проймешь.

— А папа Кита пронюхал и теперь не разрешает ей высунуть нос из дому.

Я по-прежнему смотрю на Кита. Он берет список и идет в конец Тупика.

— А может, она заставляет Кита носить ему записочки, — в самое мое ухо шепчет Барбара. — Может, он туда и пошел?

Я отлично понимаю, что это всего лишь очередной образчик девчачьих глупостей, но все равно ощущаю новый укол ревности, еще острее прежнего. Я даже не могу сказать, кто является объектом этой ревности — Барбара Беррилл, потому что присвоила себе право со знанием дела судить о поступках моего друга, или Кит, который, вытеснив меня, сам стал доверенным лицом матери? Или даже сама его мать — из-за того, что обзавелась этим предполагаемым дружком?

Снова шепот в самое ухо:

— Пошли за ним? Посмотрим, кто это.

А теперь она пытается вытеснить Кита и вместо него строить планы и придумывать затеи! Причем все планы и затеи направлены против

Кита! В конце концов я поворачиваюсь к ней, чтобы выразить свое возмущение, но не успеваю открыть рот: Барбара кладет мне руку на плечо и молча кивает на дом Хейуардов. Входная дверь открывается, на пороге стоит мать Кита. В руке у нее несколько писем: по крайней мере, к почтовому ящику ей ходить разрешено. Позабыв обо всем, мы с Барбарой впиваемся в нее глазами. Она очень осторожно прикрывает за собой дверь.

— Прямо-таки *крадется* из дому, — шепчет Барбара.

Мать Кита идет по дорожке к калитке ничуть не крадучись, а как всегда — невозмутимо и неспешно… Но вдруг останавливается и поворачивает назад. Из-за дома появляется отец Кита в рабочем комбинезоне и с кистью в руке.

— Ой, ну надо же! — шепотом вскрикивает Барбара Беррилл.

Он медленно подходит к матери Кита, и с минуту они тихо разговаривают.

— Жутко ссорятся, — жужжит мне в ухо Барбара.

На мой-то взгляд, они спокойно и рассудительно беседуют — обсуждают какую-то бытовую мелочь, подобно любой другой супружеской паре с нашей улицы.

Отец Кита уходит обратно во двор за домом. Мать Кита остается стоять у калитки; зажав в руке письма, она спокойно смотрит в ясную синеву вечернего неба.

— Не знает, что ей делать, — шепчет Барбара Беррилл. — То ли идти, то ли нет.

Мать Кита долго стоит у калитки, ища у неба ответа на свои трудные вопросы.

— Это из-за ее хахаля вы с Китом раздружились? — интересуется Барбара Беррилл.

Снова появляется отец Кита. Вместо комбинезона на нем уже рубашка и фланелевые брюки. Он открывает калитку, пропускает мать Кита вперед, и они неспешно идут рядышком по улице.

— Ой, ну надо же! — хихикает Барбара Беррилл. — Он даже к почтовому ящику ее провожает!

Да. Именно это они и обсуждали; потому он и переоделся. Летний вечер так хорош, что даже отец Кита не удержался от красивого жеста по отношению к жене, чего за ним прежде не водилось. Впервые оторвался от своего верстака и садовых дел, чтобы пройтись вместе с ней до почты.

Барбара Беррилл права. В тот день, когда мать Кита в перепачканном зеленой слизью светлом платье добралась наконец до дому, ситуация разом переменилась. Ведь никакой зеленой слизи

по дороге в магазины, на почту или к тете Ди днем с огнем не найти. Что бы там она ни плела отцу Кита, та зеленая гадость словно бы разом запачкала все ее отлучки. И теперь он посадил ее под замок. Она превратилась в узницу, без малейшей возможности связаться с миром, что лежит за тоннелем.

Они неторопливо идут по улице, останавливаются у дома мистера Горта, чтобы понюхать жимолость. Мать Кита бросает взгляд в нашу сторону, словно желая угадать, как истолковал бы все это случайный наблюдатель, а у меня свербит одна-единственная мысль: по-видимому, мы все-таки одержали верх. Без шума и душераздирающих сцен положили конец ее шпионской деятельности.

Или *я* положил конец.

Эти двое идут дальше, но вдруг она опять останавливается. Опираясь на руку мужа, поднимает с земли белоснежную босоножку и внимательно осматривает задний ремешок. Что-то с ним, видимо, не так. Они опять разговаривают — спокойно и небрежно, как водится между близкими людьми, — затем она отдает ему письма и направляется назад, к дому; по дороге еще раз останавливается и ослабляет ремешок.

— Притворяется, — в самое ухо выдыхает Барбара Беррилл.

Отец Кита провожает мать Кита взглядом, пока она не входит в калитку; потом просматривает адреса на конвертах и не спеша идет на угол, к почтовому ящику. А она, едва войдя в калитку, застывает на месте — опять явно привлеченная чем-то в небесах.

Похоже, в руке у нее письмо, неизвестно откуда взявшееся.

— Это она плутует: ждет, чтобы он ушел подальше. А сама потом пойдет…

Интересно куда?

Мать Кита открывает калитку, бросает быстрый взгляд на угол Тупика и устремляется через дорогу прямо к нам.

— Ой, надо же! — взвизгивает Барбара Беррилл и припадает к земле.

Я машинально делаю то же самое.

— Стивен, ты тут? — вглядываясь в листву, спрашивает мать Кита. — Можно войти?

Приходится выпрямиться и посмотреть ей в лицо. Барбара Беррилл тоже выпрямляется. Мать Кита обескураженно переводит глаза с меня на нее:

— А, Барбара, здравствуй! Извините, что поме-

шала. Я думала, Стивен тут один.

Она поворачивает было назад к дому, потом, поколебавшись, возвращается и с улыбкой говорит:

— Я только хотела сказать: непременно зайди к нам как-нибудь на чай, Стивен.

И уходит домой. Ремешок на босоножке, судя по всему, ее больше не беспокоит.

— Она хотела, чтобы ты отнес ему письмо, да, Стивен? — шепчет Барбара Беррилл. — А ты согласился бы? Если б она тебя попросила? Если бы меня тут не было?

Обхватив голову руками, я молча смотрю в землю. Я и сам не знаю, как поступил бы. Ничего не знаю, ничегошеньки.

— Мы бы выяснили, где он живет. И кто это такой, — смеется Барбара.

Где он живет — единственное, что я знаю. А вот выяснять, кто это такой, мне уже точно больше не хочется.

И еще меня терзает одно дурное предчувствие, настолько сильное, что его можно принять за уверенность: *она* обязательно вернется и опять попробует меня уговорить.

— Раз вы с Китом больше не дружите, можно мне заглянуть в вашу секретную коробочку?

— задает Барбара Беррилл последний вопрос.

На следующий день я иду из школы домой и, свернув в Тупик, сразу вижу: у калитки тети Ди гурьба ребятишек. Не снимая с плеч ранца, подхожу узнать, что происходит.

Тут собралась вся детвора из Тупика (кроме, естественно, Кита, который никогда с соседскими ребятами не играет): двойняшки Джист, Барбара Беррилл, Норман и Эдди Стотт, Дейв Эйвери; даже Элизабет Хардимент и Роджер на этот раз бросили свои гаммы. Отовсюду тянутся руки и благоговейно трогают высокий массивный велосипед, прислоненный к воротному столбу; на руль аккуратно нацеплена полицейская фуражка.

Заметив меня, все разом начинают галдеть:

— Тот человек вчера ночью у нас снова шастал!

— Всюду совал нос!

— Во время затемнения!

— Мама Барбары сама его видела!

При виде всеобщего возбуждения бедняга Эдди Стотт заливается восторженным смехом. Остальные с почтением смотрят на Барбару, ведь на нее падает отблеск славы ее матери. Барбара загадочно улыбается, но помалкивает, только бросает на меня многозначительный взгляд, давая понять,

что лишь мы двое понимаем, кто этот человек и зачем приходил.

— У него борода! — опять раздаются возгласы.

— И глаза страшные, вытаращенные!

— Да она ничего не видела! Темно же было!

— А вот и видела! Луна потому что светила!

— И она как закричит!

— И он убежал!

— Удрал в «Тревинник»!

— Он набрасывается на женщин, — заявляет Элизабет Хардимент, и слова ее звучат очень убедительно, потому что она носит очки.

— Конечно, ведь он — половой извращенец, — объясняет Роджер Хардимент, который тоже носит очки.

Эдди хохочет и хлопает в ладоши.

Я опять смотрю на Барбару Беррилл. Она отвечает взволнованно-серьезным взглядом, давая мне понять, что не поддастся соблазну и не сообщит никому то, что ей известно; и стойкость она проявляет ради меня, потому что Кит — мой друг и она тоже.

— Выходит, выходит! — громким шепотом объявляет одна из сестер Джист, и мы мгновенно поворачиваемся к дому тети Ди.

На пороге, разумеется, вовсе не сексуальный

извращенец с вытаращенными глазами, а полицейский, которого провожает тетя Ди. Он что-то говорит ей на прощанье. Закусив губу, она молча кивает, ее обычно улыбающееся лицо осунулось, и на нем отражается тревога.

— Ой! Вы только на нее посмотрите! — тихо ахает одна из двойняшек Джист.

— Ого, как напугалась, — шепчет вторая.

— Потому что знает: если маньяк один раз вернулся, он обязательно придет снова, — объясняет Элизабет Хардимент.

— Сексуальные извращенцы всегда возвращаются, — подтверждает Роджер Хардимент.

Полицейский идет к калитке; тетя Ди собирается закрыть дверь, но тут замечает нас, снова распахивает дверь и машет нам, сияя улыбкой — как всегда.

Дейв Эйвери, Норман Стотт и Роджер Хардимент бросаются к велосипеду и ставят его вертикально, чтобы было удобно садиться. Мы смотрим на полицейского во все глаза, надеясь, что он сделает официальное заявление о случившемся. Густые рыжеватые усы с опущенными концами придают ему особенно важный вид, однако он не произносит ни слова. Мы расступаемся и молча смотрим, как он ведет велосипед

по дороге.

— В «Тревинник» небось, — шепчет одна из двойняшек Джист.

— Это правда? — храбро обращается к полицейскому ее сестра.

Но он не отвечает.

— Папа видел тех, кто там живет, — сообщает ему Дейв Эйвери.

— Днем они дома никогда не бывают, — объясняет Норман Стотт.

— Они только вечером туда приходят.

Сквозь вечнозеленую ограду я вместе со всеми смотрю в заросший сад. Маскировочные шторы на окнах задернуты, вокруг царит привычное, наводящее тоску запустение.

— Может, тот человек все еще прячется где-нибудь за домом, — шепчет одна из двойняшек.

Барбара Беррилл посматривает на меня: как я отнесусь к тому, что таинственного незнакомца вот-вот обнаружат? Во мне просыпаются прежние тревоги.

Однако полицейский, не сворачивая, идет мимо «Тревинника».

С полдюжины пальцев указывают ему на ошибку:

— Вон куда! Не туда! Вот в этот!

Он прислоняет велосипед к столбу у калитки Хейуардов. Я так и знал.

— Это дом Кита, — шепотом объясняет каждый из собравшихся, и все глаза устремляются на меня, потому что я дружу с Китом и, следовательно, отчасти ответственен за то, что у него происходит. Я отвожу взгляд и молчу, чувствуя, что кровь заливает щеки.

Потом ребята дружно поворачиваются и уставляются на полицейского, который дважды стучит тяжелым дверным молотком.

— Миссис Хейуард же сестра миссис Трейси, — считает своим долгом пояснить Элизабет Хардимент.

— Да, а еще может быть, что маньяк побежал сначала в «Тревинник», но потом взял, перелез через забор и набросился на миссис Хейуард, — говорит Роджер Хардимент.

Все снова украдкой косятся на меня. Я упорно смотрю на дом Хейуардов, но, когда дверь открывает мать Кита, невольно отвожу взгляд. Не хочу я видеть, с каким выражением на лице она будет слушать объяснения полицейского о цели его визита.

В конце концов она отступает от двери, полицейский обчищает подошвы о скребок и, войдя в

прихожую, в точности как я, опять вытирает ноги о коврик. Дверь закрывается. Я понимаю, что надо что-то сделать. Например, пойти постучаться и рассказать полицейскому все, что мне известно. Но я лишь стою и, старательно не замечая косых взглядов Барбары Беррилл, таращусь, как остальные, на закрытую дверь; мне страшно даже представить себе, что там, за нею, происходит.

Затем все мы оборачиваемся и расступаемся, потому что кто-то пытается пробиться к калитке. Это Кит. Он вернулся домой после уроков и сейчас слезает с велосипеда; от неловкости при виде осаждающей их дом толпы он едва заметно усмехается отцовской усмешкой. В полной тишине не без труда открывает под нашими взглядами калитку и заводит велосипед во двор. Я должен подойти и помочь ему. Должен объяснить, что тут происходит. Но я стою столбом. Только сестренки Джист решают сжалиться над ним.

— Полицейский приехал, — сообщает одна. — Сейчас разговаривает с твоей мамой.

— Насчет того проныры, который прошлой ночью опять заявился, — добавляет другая.

— Он сексуальный извращенец, — гнет свое Роджер Хардимент. — Набросился на твою мать.

Кит не произносит ни слова. На мгновение

наши глаза встречаются, и он приспускает веки в знакомой презрительной гримасе. Я ему больше не друг, ведь я примкнул к уличной ватаге. Я быстро отвожу взгляд и замечаю, что Барбара Беррилл внимательно наблюдает за нами обоими.

— Почему он ничего не говорит? — глядя на меня, спрашивает Норман Стотт.

Кит тем временем ведет велосипед по дорожке и вместе с ним скрывается за домом.

— Потому, что он волнуется за мамочку, — отвечает одна из девочек Джист.

— Ничего подобного, — возражает Дейв Эйвери. — Просто он больно нос задирает.

Все уставляются на меня.

— Теперь он даже и с тобой уже не разговаривает! — возмущается одна из двойняшек Джист.

— Может, это он и подглядывал? — предполагает Дейв Эйверц.

— А может, Стивен? — лукаво спрашивает Норман Стотт.

Эдди, сияя доверчивой улыбкой, пытается взять меня за руку.

Мне не до них. Я изо всех сил гоню от себя возникающую перед глазами картину. Вот Кит заводит велосипед под навес… вынимает учебники из седельной сумки… идет в прихожую, где

его отец молча слушает, пока его мать убеждает полицейского, что ничего необычного не заметила. Не хочу я видеть, как под взглядами этой троицы Кит краснеет и усмехается отцовской усмешкой…

Открывается дверь, мать Кита провожает полицейского до порога. На лице у нее любезная улыбка. Наверняка сказала, что сообщит в полицию, как только заметит что-то подозрительное.

Отец Кита вернулся к верстаку. Кит поднялся к себе в детскую. Никто не сказал ничего лишнего. Никаких неприятностей не случится.

Ребята подводят к полицейскому его велосипед и бегут рядом, пока он медленно едет вдоль Тупика. Я жду. Когда все они скрылись из виду, я заползаю в тайник и сижу, сжимая руками голову. Опять я ничего не сделал. Ничем *ей* не помог. И не остановил *ее.*

— Той ночью приходил не дружок тети Ди, правда? — шепотом спрашивает Барбара Беррилл. Она сидит рядом на наблюдательном посту, то и дело подцепляя губой синий клапан кошелька, и замочек щелкает, открываясь и закрываясь. — Это был дружок Китовой мамы. Папа Кита с нее ведь глаз не спускает. Вот он и пришел затемно — с ней повидаться.

Я тереблю тот же самый сухой прутик, что в прошлый раз, и ломаю его на мелкие кусочки. Жизнь идет по кругу.

— Моя мама вчера ночью так распсиховалась! — шепчет Барбара Беррилл. — Она ходила искать Дидре, потому что почти совсем стемнело, а Дидре еще не вернулась, и мама как разорется, что вот папы нет, некому держать нас в узде и в ежовых рукавицах, и вдруг увидела этого типа! «Ох, ну надо же!» — подумала она.

Я крошу в пальцах остатки прутика.

— Вообще-то, — продолжает Барбара, — я знаю, почему Дидре не вернулась домой.

Я чувствую на себе ее взгляд; она пытается понять, известно мне почему или нет. Конечно, известно, но я ничего не скажу.

— Она с твоим братом где-то была.

— Знаю, — выпаливаю я, позабыв, что говорить не хотел.

— А еще я знаю, чем они занимались, — шепчет она.

— Они курят сигареты, — неожиданно для самого себя брякаю я: пусть не думает, что мне не известно что-то, известное ей.

Молчание. Я бросаю взгляд на Барбару. Она попрежнему смотрит на меня и загадочно улыба-

ется. Значит, у нее есть еще один секрет, которым она жаждет поделиться.

— Они целуются, — сообщает она шепотом. — Дидре мне сказала. Курят сигареты, а потом целуются.

— Да знаю, — буркаю я, хотя знать ничего не знал. Но теперь я почти уверен, что и вправду знаю.

Это же вполне в духе Джеффа.

Барбара все еще держит кошелек у рта и, не спуская с меня глаз, то открывает его, то опять защелкивает.

— А у тебя опять лицо все склизкое, — говорит она.

— Неправда.

— Так тебе же не видно.

Она пристально смотрит на меня.

— А *ты* когда-нибудь курил сигареты? — шепчет она.

— А то нет!

— Спорим, не курил.

— А вот курил, курил! И еще сколько раз!

Она улыбается; на самом деле она мне не верит, но делает вид, что верит, потому что хочет про это разговаривать.

— Это приятно?

Я пытаюсь припомнить свои ощущения, когда мы с Чарли Эйвери свернули с грехом пополам две цигарки с отсырелым табаком, который наковыряли из окурков, что валялись у Чарли в родительских пепельницах. Вспоминается лишь запах вспыхнувшей спички, похожий на запах устроенного дома фейерверка — восхитительный в своей запретности.

— Вы с Китом здесь курите? — спрашивает Барбара.

Она поднимает с земли какой-то предмет. Начатая сигарета, которую почти сразу загасили. Я настолько поражен ее находкой, что забываю сразу же заявить на нее свои права.

— Выходит, здесь побывал кто-то еще, — заключает Барбара.

Перед глазами у меня все плывет. Окружающий мир совершенно вышел из-под контроля. В наше укромное местечко забираются чужаки, сидят, шепотом молят о чем-то и выбалтывают тайны, да еще курят тут, а я ничем не могу им помешать.

Барбара внимательно осматривает сигарету.

— Фильтр пробковый, — сообщает она.

После чего сует сигарету в рот и, хихикая, делает вид, что курит.

— Заразу подцепишь! — в ужасе кричу я. — Ты же не знаешь, кто ее курил!

Барбара вынимает сигарету изо рта и с томным видом выпускает воображаемое кольцо дыма.

— Догадываюсь, — говорит она и выпускает еще одно кольцо.

Я не сразу соображаю, кого она имеет в виду, и таращусь на нее с нарастающим беспокойством. Неужели?! Джефф и Дидре? В темноте? Курили? И целовались? Прямо *здесь?!*

– Даже точно знаю, — продолжает она. — Есть у тебя спички?

Дудки, на этом она меня не поймает. Ей прекрасно известно, что спичеку меня нет, а все равно спрашивает!..

Мотнув головой в сторону запертого на замок сундучка, она настаивает:

— А в вашей секретной коробочке?

Какую-то долю секунды я колеблюсь — там ведь лежит огарок со спичками, — но тут же отрицательно качаю головой. Однако слишком уж долго я медлил с ответом.

— Ну же! — командует она. — Он ничего не узнает.

Перегнувшись через меня, она пробует открыть замочек. Я ощущаю на коленях тяжесть и дви-

жения ее мягкого тела, а Барбара тем временем дергает замок вверх-вниз. Синий кошелек ложится на тыльную сторону моей руки. Я кожей чувствую его пузырчатость, холодок блестящей защелки и влажный край клапана, который Барбара прихватывала губами.

— Где ключ? — требовательно говорит она.

Я молчу. Не поднимая головы, она насмешливо смотрит на меня снизу вверх; волосы падают ей на глаза.

— Или, может, он тебе ключа не дает?

Перед глазами опять все поплыло. Твердой земли под ногами больше нет. Я тянусь под Барбарой вбок, достаю из-под заветного камушка ключ. И слышу, как мягко, без усилия открывается заботливо смазанный Китом замок. Барбара поднимает крышку и заглядывает внутрь:

— И это все ваши секреты?

Продолжая лежать у меня на коленях, она перебирает содержимое сундучка. Я беспомощно наблюдаю за ней. В голове не умещается вся чудовищность моего преступления. Сначала я впустил в наш тайник постороннюю, а теперь позволяю ей рассматривать наше самое сокровенное достояние. Как такое могло случиться?

— Пульки понарошечные?

— Нет, настоящие.

— А зачем здесь старый носок?

Я отбираю у нее носок и бросаю обратно.

— Нужен, для одного дела.

Она вытаскивает кухонный нож.

— А это зачем?

— Это штык.

— *Штык?* — Она осторожно щупает лезвие. — Чтобы в людей втыкать?

Да, а еще для клятвы — не выдавать ничего ни единой живой душе, и чтобы резать мне горло, если я клятву нарушу, и да поможет мне Бог, и пусть я лучше умру. Но вслух я не произношу ни слова.

— Ручка отвалилась, — замечает Барбара. — Вообще-то он, по-моему, смахивает на разделочный нож.

По-моему, тоже. Я беру у нее нож и кладу назад в сундучок. Барбара садится и показывает что-то, обнаруженное под ножом: коробок спичек. Чиркает, и в нос ударяет острый волнующий запах, как от фейерверка. Барбара опять берет в рот сигарету и с опаской подносит согнутый почернелый кончик к самому пламени. В его неверном свете поблескивает ее лицо. В темной глубине прищуренных глаз танцуют два крошечных огонька.

Внезапно она роняет спичку; захлебываясь кашлем, выхватывает сигарету изо рта и с удивлением смотрит на нее:

— Тьфу! Гадость какая!

Я протягиваю руку:

— Дай курнуть.

Барбара не обращает на меня никакого внимания. С великой осторожностью опять сует сигарету в рот и снова пытается закурить. Опять кашляет, задыхается, дым ест ей глаза. На этот раз она не глядя протягивает мне сигарету и прижимает руки к векам.

Я беру сигарету в рот. Пробковый кончик влажен от ее губ, как клапан ее кошелька. Очень осторожно я втягиваю в себя немножко дыма; во рту он кажется прямо-таки твердым. Барбара отнимает от глаз руки и наблюдает за мной, смаргивая набегающие слезы. Несколько мгновений я держу дым во рту, стараясь не впустить в горло, и явственно ощущаю в нем привкус значительности и взрослости.

Я поднимаю голову и, подражая Джеффу, за которым подглядывал, выпускаю дым изо рта. После чего удовлетворенно вздыхаю.

Барбара снова отбирает у меня сигарету.

— Как это у тебя получается? — кротко спра-

шивает она.

— Привычка нужна, только и всего.

Зажмурив глаза, она делает маленькую затяжку.

— Теперь выпускай, — командую я.

Отдернув назад голову, чтобы дым не ел глаза, она старательно дует.

Затем отдает мне сигарету и внимательно наблюдает, пока я снова набираю в рот немного дыму.

— А ты нормально себя чувствуешь? — спрашивает она. — Тебя ведь должно тошнить.

Нормально ли я себя чувствую? Я чувствую… *что-то будоражещее.* Но едва ли тошноту. По-моему, это ощущение *полета.* Чувство полной свободы, точно меня уже не сковывают правила и путы детства. Я могу безнаказанно отпирать запертые сундучки, нарушать утратившие смысл клятвы, и мне все сойдет с рук. Вот-вот откроются тайны, прежде мне недоступные. Из старого темного мира тоннелей и ужасов я взмываю в раздольное нагорье, где воздух светел и прозрачен и далеко окрест синеет горизонт.

Барбара протягивает руку за сигаретой и снова набирает в рот немножко дыма. На этот раз она не только задыхается, но и хохочет.

— Ты чего? — спрашиваю я.

— Вот это да! — отсмеявшись и откашлявшись, произносит она. — Сидим себе и курим.

Мы передаем друг другу волшебный огонек. Сигарету держим самыми разными способами, смелыми и эффектными: то как Джефф, то подносим раскрытую ладонь к лицу, словно отдаем салют, то как миссис Шелдон — поддерживая локоть другой рукой. Вытягиваем губы вперед, словно принимая причастие. Втягиваем их, смакуя затяжку. Смотрим на маленький красный огонек на кончике; с каждым вдохом и выдохом он то разгорается, то блекнет, а сквозь листву ввысь струится сизый дымок.

Мы растягиваемся на пыльной земле, глядим, щурясь, в небо и разговариваем о всякой всячине. Вернее, говорит Барбара. Она ненавидит мисс Пиннекноп, школьную учительницу рисования, — ее все ненавидят и прозвали Чертежной Кнопкой. Раньше лучшей подружкой Барбары была Розмари Уинтерс, но они больше не дружат, потому что Розмари наговорила Анне Шекспир разных гадостей про Барбару. Интересно, что теперь будут делать мать Кита и ее дружок? Ведь все только и ждут, чтобы он появился.

— Никакой он ей не дружок, — спокойно объяс-

няю я. — Они просто немецкие шпионы.

Только на самом деле я, конечно, ничего такого не говорю. Лежу и молчу.

— Может, когда он в следующий раз придет среди ночи, — шепчет Барбара, — она тихонько выскользнет из дому, и они убегут.

— Они же немецкие шпионы!

Но и теперь я не говорю этого вслух, потому что понимаю: все гораздо, гораздо сложнее. Непонятным образом сюда еще припутались и перси, и мягкость тела, и поцелуи. В чистом виде, без этих мудреных добавок, шпионство принадлежало миру штыков и тайных подземных ходов, но, поднявшись вместе с клубами сизого дыма ввысь, тот мир растаял в небе.

Барбара снова затягивается и отдает сигарету мне, только курить уже почти нечего, остался лишь пробковый фильтр.

— А мы могли бы подсмотреть, что будет, — тихо говорит Барбара. — Тайком выйдем ночью из дому и спрячемся тут, как твой брат с Дидре.

Легкая дрожь бежит у меня по телу, в животе что-то неприятно сжимается. Наверно, меня начинает тошнить. Представив, как мы с Барбарой будем здесь прятаться среди ночи, я вдруг вспомнил, что через три дня луна вообще не взойдет и

настанет тьма, хоть глаз коли.

А еще вспомнил, где последний раз видел пачку сигарет с пробковыми фильтрами.

Возможно, прошлой ночью тут сидели совсем даже не Джефф с Дидре. Возможно, тут сидел *он*. Наблюдал за обитателями дома. Выжидал подходящий момент…

Сигареты с пробковыми фильтрами, что лежали в потайном ящике за тоннелем, были марки «Крейвен-Эй». Я смотрю на зажатый в пальцах «бычок».

Сигарета, вместе с напечатанным на бумаге названием, выкурена до самого фильтра. Мы с Барбарой сообща уничтожили вещественное доказательство.

И теперь все опять переменилось. Каждый вечер воздух в Тупике звенит от птичьих трелей; я этого прежде не замечал. Он звенит от птичьих трелей, напоен летними ароматами, полон странных, мельком, искоса замеченных образов и очертаний, в нем разлиты томление, грусть и неопределенные надежды.

Но у нее, у этой сладкой тревоги, есть имя. Называется она — Ламорна.

Ламорна. Слово это снова и снова вертится у меня на языке, срывается с него помимо моей

воли. Ламорна — это прикосновение мягкого платья Барбары, когда она перегнулась через меня, чтобы заглянуть в сундучок. Ламорна — это правильное, научное название контраста между пузырчатостью кошелька и гладкостью его блестящей защелки. Ламорна — это запах спички, похожий на запах фейерверка, и два ярких отражения пламени в зрачках Барбары.

Но Ламорна — еще и название нежного голоса, каким мать Кита окликала меня сквозь листву, когда ей нужна была моя помощь, и мольба, которую я уловил в ее глазах, прежде чем она поняла, что я не один.

Ламорна. Дальняя заморская земля, синеющая на синем горизонте. Шелест листьев. Название однажды слышанной песни. В нем есть малая примесь ужаса, живущего в Закоулках, и безмолвия под кустами бузины.

Ламорна… Да вон же оно, это слово: выпуклые металлические буквы закрашены той же лупящейся краской, что и деревянная доска, на которой они прибиты; доску и буквы почти не разглядеть в буйных зарослях одичавшего шиповника у калитки Барбары Беррилл.

На одной стороне улицы строгим четким шрифтом на позеленевшей медной дощечке, висящей

за штамбовыми розами, выгравирована надпись: *Чоллертон.* А на другой стороне — эти беспечные, открытые, облезающие буквы: *Ламорна.*

Теперь Ламорной полон воздух, и куда ни погляжу, вижу много такого, чего раньше никогда не замечал. Смотрю на вечернее небо, как смотрела мать Кита, терпеливо дожидаясь у калитки, чтобы ее сопроводили до почтового ящика, и с удивлением вижу, что глядела она вовсе не в пустоту, не в безмятежное, ничем не нарушаемое однообразие, а всматривалась во что-то бесконечно сложное. Там, в вышине, неслышно идет воздушный бой — великое вечернее сражение между высоко летающими насекомыми и низко реющими ласточками.

А на расстоянии десяти тысяч футов выше ласточек я снова вижу дымный след, вроде тех, которыми было исписано небо в начале лета. Но вот уже спустилась ночь, и я слышу, как вблизи и вдали одна за другой завыли сирены, слышу низкий, пульсирующий рев бомбардировщиков. Вижу пальцы прожекторов, шарящие по вселенной, сияющие купола осветительных ракет и оранжевые язычки над домом мисс Даррант.

Внезапно, как сполохи беззвучных взрывов во тьме, передо мной вспыхивает ряд живых кар-

тин, в которых эта история предстает от начала до конца.

Снова призрачный грибок парашюта бесшумно опускается все ниже и ниже… Резкое, неприятное приземление… Какое-то время парашютист лежит, оглушенный, потом ползет по темной, незнакомой вражеской земле. Земля эта в непостижимом порядке изрезана трещинами и утыкана кустиками жесткой травы. Натыкаясь на брошенные бордюрные камни и полускрытые растительностью лазы, он ползет в поисках укрытия…

Он вовсе не шпион. И не старый бродяга. Он — сбитый немецкий летчик.

Каким-то образом его обнаружила мать Кита. Наверное, в одну из непроглядных ночей, когда в поисках еды он вылез из тоннеля в наш Тупик. Ей стало его жалко. Она вспомнила стоящую дома фотографию в серебряной рамке — портрет другого летчика, которому — кто знает? — тоже, быть может, придется спуститься ночью на чужую землю и отыскивать нору, чтобы в ней укрыться; и ему тоже может понадобиться помощь. Она никому ничего не рассказала. Только тете Ди, стоя с ней под снимком того самого летчика. И стала брать для него у тети Ди еду и сигареты…

И чистую одежду… И горячий кофе в термосе, вынутом из корзинки для пикников… А потом два мальчика обнаруживают ящик, в котором были сложены вещи для летчика. И теперь ей приходится носить все прямо в его укрытие. Приходится встречаться с ним лицом к лицу. Каждый день… И постепенно он становится ее дружком, она прижимает его к своим персям…

У меня слегка кружится голова. Во-первых, от облегчения, ведь получается, что мать Кита вовсе не шпионка. Во-вторых, от тревоги: да, она протягивает руку помощи и утешения, но кому? Врагу! Потому что сбитый немецкий летчик все равно фашист! А еще — от искрящегося в воздухе возбуждения, такого же переменчиво-неуловимого, как молния. Оно чем-то связано с персями, к которым *она* прижимала немца. Я помню, как столкнулся с ней в тоннеле и ощутил их волнующую податливость, которая сливается с мягкостью платья Барбары Беррилл, когда Барбара перегнулась через меня, чтобы заглянуть в сундучок…

Название всего этого едва слышно разносится в душистом воздухе, словно легкий протяжный вздох:

Л… а… м… о… р… н… а…

Но что-то вдруг изменилось в букете ароматов на нашем наблюдательном посту. Простодушную сладость цветущих лип и жимолости вытеснил другой запах — сладковатый, но грубый, вульгарный и нахальный, слегка отдающий кошачьей мочой.

Оказывается, источник запаха тут, совсем рядом, стоит только поднять глаза. Одетые в тускло-зеленую листву кусты, под которыми я прячусь, покрылись вонючими белыми соцветиями. Однажды, в жаркий полдень, я обнаруживаю среди белой пены соцветий два карих глаза, которые внимательно наблюдают за мной. Сердце у меня екает, сначала от волнения, а через мгновение, когда до меня доходит, кому принадлежат эти глаза, — от тревоги…

— Стивен, — негромко произносит мать Кита, — раз ты один… Я хочу попросить тебя сделать для меня кое-что. Можно войти?

9

На минутку я снова останавливаюсь перед «Медоухерстом». Стивен вон там — вторая слева кадка с геранями. А вон притулилась рядом *она,* мать Кита, — третья кадка.

Началась совсем другая, новая фаза игры. Мне кажется, Стивен это понял, как только *она* села перед ним на землю. Роли совершенно переменились. Он вступил в игру как *ее* противник, а теперь ему предстояло стать *ее* сообщником.

Она в чем-то стала другой. Это я тоже, помнится, заметил сразу. Изменилась не меньше, чем кусты, чем сам Стивен и все вокруг.

В чем же суть этой перемены? По-моему, *она* стала еще обворожительнее, чем раньше. Губы алеют ярче прежнего, кожа кажется еще более гладкой, а глаза — еще более лучистыми. На шее, под самым подбородком, повязан голубой шарфик, скрепленный спереди серебряной пряжкой. Он словно бы приподнимает ее голову, придавая *ей* царственное высокомерие, даже когда *она* уселась, скрестив ноги, наземлю, будто попрошайка. В кого, полагаю, и превратилась. Только

теперь я вполне осознаю, до какого отчаяния она дошла, если решилась на такое унижение и даже обратилась за помощью к ребенку.

Но совершенно не могу припомнить, как она вообще исхитрилась завести разговор о *нем.* Кажется, просто поставила принесенную из дому корзину для покупок между собой и Стивеном. Вероятно, тихим ровным голосом объяснила ему все, что ей от него нужно. Вряд ли он нашелся, что ответить. Но понять, разумеется, понял.

Полагаю, она извинилась за то, что вынуждена обращаться к нему. Сказала, наверное, что другого способа не видит — больше ей рассчитывать не на кого.

Объяснила ли, почему не может попросить о том же Кита? Незачем было объяснять, Стивену и так все было ясно. Кит ничего не знал — и знать не желал. Во всяком случае, самая мысль о том, чтобы просить его, почему-то совершенно исключалась. Почему исключалась? Да нипочему. Если что-то исключается, как совершенно непредставимое, то по природе своей оно не может быть чем-то определенным. Его неопределенность и дает ему неодолимую силу, незаметно, как аромат, пропитывающую самый воздух.

Содержимое корзины было прикрыто чистым

посудным полотенцем, будто они — *она* и Стивен — собрались на пикник. Она не показала Стивену, что лежит под полотенцем. Кажется, объяснила, что сложила в корзину несколько нужных для *него* вещей. Нужных для кого? Для *него.* Кажется, только так она его и называла: *он… ему…*

Кто бы *он* ни был и чем бы ни занимался, в одном Стивен не сомневался: *он* — немец. От этого обстоятельства никуда не уйдешь.

У него нет продовольственных карточек, объяснила мать Кита. Он болен, на самом деле ему нужен доктор. Еще что-то сказала вскользь про сырость. Но не уточнила, где эта сырость обретается.

Стивену вспомнилось тихое, беспрестанное покашливание, доносившееся из подземной каморки под кустами бузины. А еще представилось, как немец, сидя тут, в тайнике, где сейчас сидит Стивен, закуривает сигарету, но начинает кашлять и гасит ее, не докурив.

Хотелось бы послать ему чего-нибудь горяченького, сказала *она,* и Стивен, конечно, понимает, почему это невозможно: потому что термос уже вернулся в висящую на стене гаража корзину для пикников и останется там до конца Войны.

Она велела Стивену по ступенькам не спус-

каться, а оставить все на земле у входа; просто окликнуть *его* и сказать, что все принесено.

— Ты ведь знаешь, куда идти, правда? — тихо спросила *она.* — Я это не придумала?

Стивен молчал, уставившись в землю. Но она все равно поняла: он знает. Она это не придумала.

— Так ты сделаешь это для меня, да, Стивен?

Я по-прежнему сижу, уставившись в землю. И, кажется, слышу, как тихо, бесшумно опускается во тьме парашют. Чувствую сокрушительный удар о землю, липкую кровь на руках…

Но *он же немец!*

– Стивен, солнышко, послушай меня! — говорит *она* тихим голосом, похожим на шелковистый шелест парашюта. — Я не могу тебе все объяснить. Это займет слишком много времени, а мне надо возвращаться; к тому же бывают на свете вещи, которые не так-то легко объяснять посторонним.

От ее нежного голоса, от близости ее тела, когда она наклоняется ко мне, а в особенности — от слова «солнышко», с которым она обычно обращается к собственному сыну, мое лицо кривится и морщится, как купол осевшего парашюта. Но *он же немец!*

— В общем, думаю, ты все понимаешь, — гово-

рит она так же тихо. — Верно, Стивен? Хотя бы отчасти? Понимаешь ведь, что иногда люди оказываются отрезанными от мира. Они чувствуют себя изгоями, им кажется, что все против них. Ты же сам знаешь: в школе, случается, некоторых ребят почемуто постоянно дразнят. Может быть, даже за такое, что они и изменить-то не в силах: за внешность, за выговор или за неспортивность. Или вообще ни за что. Просто потому, что они такие. Верно?

Я киваю. Еще бы мне не знать мальчика, которого часто дразнили. Я отлично помню, как болят уши, как страшит мысль, что они оторвутся и останутся в руках у мучителей, мотающих мою голову взад-вперед. Но ведь я же не *немец!* Это же совсем другое дело!

— Значит, отнесешь, Стивен? Отнесешь, да?

Время у нее на исходе. Я понятия не имею, где сейчас отец Кита и чем он занят, но *она* знает, что скоро он ее хватится. Вдруг уверенность и напор, поначалу звучавшие в ее голосе, куда-то испаряются:

— Я понимаю: это ужасно, что я вынуждена просить тебя, Стивен. Поверь, ни за что бы не стала, если бы могла придумать что-то еще. Мне так…

Она умолкает. Я поднимаю голову — узнать, что

случилось. *Она* сидит, прижав руки ко рту, глаза ее наполняются слезами. В конце концов сквозь пальцы просачиваются два еле слышных слова:

— …так стыдно.

Она сейчас заплачет. Я отвожу взгляд. Ситуация — хуже некуда. Теперь я точно не выдержу, уступлю. Но *выстоять необходимо!* Да, он изгой, но ведь вполне заслуженно — он же *немец!* Я делаю последнюю попытку:

— А тетя Ди? Она может отнести. Вы бы присмотрели за Милли, а тетя Ди отнесла бы.

Молчание. Я опять поднимаю голову. *Она* сидит совершенно неподвижно, по-прежнему прижав ладони к губам, и смотрит на меня глазами, полными слез. И тут меня осеняет. Человек, который раньше приходил в безлунные ночи к тете Ди, и есть немец, нашедший убежище в «Сараях». Теперь это кажется совершенно очевидным. Значит, его обнаружила не мать Кита, а тетя Ди. И первой сделала его своим дружком и прижала к персям тетя Ди!

У матери Кита вырывается жуткий прерывистый всхлип. Потом еще один, и еще.

Снова тишина. Я украдкой кошусь на нее. Понурив голову и закрыв лицо руками, она молча сотрясается всем телом. Я снова отвожу взгляд.

Не надо смотреть на нее такую. В пыли между нами кое-где расплываются влажные пятнышки. Одна капля влаги падает мне на руку.

Я жду, не смея дохнуть. На той стороне улицы сестренки Джист расчерчивают мелом тротуар, готовятся играть в «классики», а Норман Стотт стирает белые линии подошвой ботинка. Мимо идет Барбара Беррилл, подзывая собаку Стоттов. В любую минуту кто-нибудь из ребят нас услышит, или Барбара на обратном пути решит заглянуть сквозь листву в тайник. Помню, она сидела как раз там, где сейчас сидит мать Кита, и на глаза ей тоже навертывались слезы — от сигаретного дыма. И я начинаю понимать, что вещи, казавшиеся тогда такими простыми и самоочевидными, совсем даже не просты и не самоочевидны, а бесконечно сложны и мучительны.

А *она* по-прежнему безмолвно сотрясается. И все из-за меня. Оттого что я наткнулся на ящик, матери Кита пришлось носить записки в район «Сараев». И пришлось встретиться с немцем лицом к лицу. Она сделала его *своим* дружком, прижала к *своим* персям — и отняла его у тети Ди. Вот почему она не может просить тетю Ди пойти туда. Вот почему сама больше не ходит к тете Ди. Всего лишь случайно взглянув на то, на что

смотреть не следовало, я все изменил. Настроил родителей Кита друг против друга. Поссорил мать Кита с тетей Ди. Все разрушил.

— Простите, — бормочу я, — простите меня.

Из-за дома появляется отец Кита. Насвистывая мелодию, которой нет конца, он заглядывает за другой торец дома, потом подходит к калитке, останавливается и смотрит вдоль улицы. Свист замирает.

Мать Кита делает неторопливый глубокий вдох. Она уже не плачет, а наблюдает сквозь пальцы за отцом Кита. Он явно колеблется, но все же разворачивается и шагает назад к кухонной двери.

— Мне надо идти, — с трудом, едва слышно произносит мать Кита. Вытянув из рукава платочек, промокает глаза. — Только сначала, пожалуй, приведу себя немножко в порядок.

Я смотрю на нее. Она опять совершенно переменилась. На лице, показавшемся мне сначала ослепительно ярким, расплылись пятна; теперь ясно, почему раньше оно так меня поразило: перед уходом она накрасилась тщательней обычного.

— Извини меня, пожалуйста, Стивен, — говорит она. — Давай сделаем вид, что ничего этого

не было, хорошо? Я же знаю, ты отлично умеешь притворяться. А о том деле не беспокойся. Я что-нибудь придумаю. Не надо было вообще тебя просить. Это было совершенно неправильно. Просто я чувствовала себя такой… *такой беспомощной…*

Прижав платок к губам, она долго смотрит мимо меня задумчивым взглядом, будто вспоминая что-то давно прошедшее.

— Да, так мы раньше и поступали, — точно во сне, произносит она. — Ди уходила, а я приглядывала за Милли.

Теперь, когда почти вся косметика сошла с ее лица, мать Кита стала почти неузнаваемой. Вместе с тем в ее облике проступает что-то странно знакомое, но не теперешнее — как будто я видел ее такой во сне.

— Ах, Стивен! — говорит она. — Жизнь порой бывает страшно жестока! Сначала-то все кажется проще простого. А потом…

Обхватив руками колени — как Барбара, — она опускает на них подбородок.

— Когда вы с Китом затеяли игру в сыщиков, принялись осматривать мои вещи и всюду за мной подглядывать, тебе, наверное, и в голову не приходило, что все закончится вот так, что я буду

плакаться тебе в жилетку. Бедняжка Стивен! Но знаешь, шпионить за людьми очень гадко. И все равно, какое страшное наказание!

Она слабо улыбается. А я понял, где уже видел ее такое непривычное лицо. Это оно очень серьезно смотрит в гостиной из серебряной рамки — лицо девчушки, которая, надев длинные перчатки и широкополую шляпу, изображает из себя взрослую даму: покровительственно обнимает рукой младшую сестренку; а та, притворяясь совсем маленькой, доверчиво смотрит на старшую.

Опять мне чудится, что запертый секретный сундучок приоткрывается, являя мне свои тайны. Позади остаются старые тоннели и детские страхи; я вступаю в новый мир куда более темных тоннелей и совсем необъяснимых страхов.

Она трогает пальцами щеки и глаза.

— О господи! У меня даже зеркальца с собой нет. Ужасно выгляжу, да?

По-моему, да. Но я отрицательно мотаю головой.

Она берет корзинку, собираясь уйти. Из-за дома неслышно появляется отец Кита. Опять подходит к калитке и молча смотрит на улицу. Мать Кита выжидает.

— Ничего, — говорит она. — Я что-нибудь при-

думаю. Ты теперь знаешь, кто этот человек, но ты ведь никому не скажешь, правда, Стивен?

Я отрицательно мотаю головой. И беру у нее из рук корзинку.

Мать Кита изумленно смотрит на меня.

— Неужели?! Ах, Стивен! — восклицает она шепотом.

Наклоняется и целует меня. Я неуклюже уворачиваюсь, и ее губы скользят по моей брови. Я чувствую у себя на лбу ее слезы.

Стоя в ожидании у калитки, отец Кита снова начинает свистеть — рассеянно, нерешительно. Не переставая насвистывать, поворачивает назад к дому. Мать Кита выкарабкивается из-под кустов. Я стараюсь не думать о том, что будет, когда она придет домой.

Она опять останавливается, смотрит на окутанные белым облаком ветви, нависшие над головой, и морщит нос:

— Видишь? Я же тебе говорила, что этот запах заглушит все остальные.

Она права — и правда, заглушил. Я, во всяком случае, оглушен этой вонью.

Но со сладковатым запахом почему-то переплетается — как слова и мелодия песни — томительная сладость звуков:

Л… а… м… о… р… н… а…

Чтобы корзина как можно меньше бросалась в глаза, я заталкиваю ее подальше за спину. Но Барбара все равно не может отвести от нее глаз. Она сидит на земле, скрестив ноги, точно там, где сидела мать Кита, и, склонившись набок, заглядывает мне за спину.

— И что она хочет, чтобы ты с этой штукой сделал?

— Ничего.

— А говорила что?

— Ничего. Не знаю.

— Просто оставила ее и ничего не сказала?

— Не помню.

Барбара улыбается, но уже не той лукавой заговорщической улыбкой, что в прошлый раз. Она опять ухмыляется, ухмыляется насмешливо, во весь рот. Мне надо было сразу уйти, как только мать Кита вылезла отсюда. Я же замешкался, обдумывая все произошедшее, хотел убедиться, что у меня хватит духу снова идти в Закоулки, мимо собак, к кустам бузины и темным, ведущим в подземелье ступеням.

— Она плакала, — тихо произносит Барбара.

В ее словах слышится упрек, почему-то вызывающий в душе острый стыд — и за мать Кита, и

за себя, ведь я был свидетелем ее слез.

— Ничего она не плакала, — бурчу я.

— Нет, плакала. Я за вами обоими подглядывала. А ты и не знал!

— Вот еще, конечно, знал.

— Не знал, не знал!

Сердце у меня падает. Мы ведь вроде уже покончили с этими детскими глупостями: «нет, знал — нет, не знал». Отчего же мы опять к ним вернулись? Залитый солнцем мир внезапно и резко темнеет. Отчего?

— Она все время промокала глаза. И косметика на лице расплылась, как у клоуна! — В насмешливой ухмылке Барбары чувствуется злорадство.

— Это от смеха, — беспомощно вру я.

— От смеха? — Барбара улыбается прямо-таки до ушей. — Над чем же это?

— Просто засмеялась.

— Просто засмеялась? Она что, чокнутая, как Эдди Стотт?

Что происходит? Никогда прежде я ничего подобного от Барбары не слышал. Ни разу, с тех пор как настала пора Ламорны.

Барбара по-прежнему смотрит на корзину. В ее душе борются гнусное злорадство и любопытство. Любопытство берет верх.

— Я могу пойти с тобой, — уже более дружелюбно объявляет она. — Помогу нести.

Я и рад бы согласиться на ее предложение, но навряд ли имею право. И с жалким видом лишь молча мотаю головой: нет.

Барбара обиженно отворачивается:

— Ну и пожалуйста, тащи сам. Какое мое дело?

Я сижу, уставившись в землю. До прихода Барбары я совсем было собрался с духом. Почти приготовился лицом к лицу встретиться в Закоулках с собачьей стаей, даже приблизиться к немцу.

— Давай, топай! — поддразнивает Барбара.

Такое ощущение, будто с каждым ее словом меня покидают остатки мужества.

— Да не бойся, не пойду я за тобой! Какая мне разница, куда ты потащишь эту дурацкую корзину?

Положение безвыходное. Теперь будем здесь сидеть до скончания веков.

— А что в ней все-таки? — уже менее пренебрежительным тоном спрашивает в конце концов любопытная Барбара.

— Так, кое-что, — говорю я, пожимая плечами.

— А что — «кое-что»?

— Не знаю. Вещи.

— Секретные? Как в вашей коробке? Старые ржавые разделочные ножи?

Мне до того тошно, что, если б даже я нашел, что сказать, все равно бы смолчал.

Вдруг Барбара принимается хихикать.

— А может, *ты* ей приглянулся? — негромко спрашивает она. — Вот было бы смеху, если бы мамочка твоего лучшего друга стала твоей подружкой!

И тут в ее насмешливой ухмылке мне чудится едва уловимый проблеск печали, похожий на выражение мольбы в глазах матери Кита, когда она читала мне лекцию о необходимости бережно относиться к маленьким людским тайнам. И вся накопившаяся в душе боль разом прорывается наружу.

— А я-то думал, — в голос кричу я, — что мы станем…

И замолкаю. Так *чем же,* я думал, мы станем? Я хотел сказать «друзьями». Разве не об этом она прежде сама говорила — что я мог бы тоже стать ее лучшим другом, после какой-то девчонки из школы? И не она ли сама сказала, что с той одноклассницей уже больше не водится? Но слово «друзьями» я произнести не решаюсь, потому что Барбара опять завела речь про всяких «дружков»

и «подружек», а я-то ведь имел в виду совсем не эти жуткие глупости.

Другое слово, однако, на ум не приходит, и я, презирая себя, заканчиваю:

— …друзьями. Я думал, мы станем друзьями.

И вдруг весь этот начавшийся в мгновенье ока тарарам так же быстро стихает. Широкая насмешливая ухмылка сползает с лица Барбары, она уже ласково улыбается. Ей очень хочется дружить со мной — ничуть не меньше, чем мне с ней.

— Сейчас покажу тебе один секрет, — говорит она и, щелкнув замочком, раскрывает пузырчатый кошелек.

Сблизив головы, мы заглядываем внутрь; мою щеку щекочет завиток ее волос. Среди монеток в полпенса и трехпенсовиков лежит пакетик, смятый и приплюснутый тесным кошельком; по краю пакетика надпись: «Плейерс „Нейви кат“, 10 штук».

Подняв головы, мы смотрим друг на друга.

— Вынула у Дидре из сумки, — объясняет Барбара.

Внутри — одна сигарета, смятая и сплющенная, как пакетик. Барбара защелкивает кошелек. Я неожиданно замечаю, что он открывается и закрывается с редкостно приятным звуком, словно

вкладывает слово «Ламорна» в единый слог.

— Я потому и пришла к вам на базу, — говорит Барбара. — А вдруг, думаю, мы с тобой опять покурим.

Воздух снова сладостен и звенит от птичьих трелей. Я небрежно пожимаю плечами, пытаясь скрыть разом охватившее меня возбуждение.

— Ладно, — цежу я с нарочитой неохотой.

И достаю из сундучка спички. Барбара берет сигарету в рот и лукаво поглядывает на меня, пока я держу у кончика сигареты огонек. В ее зрачках пляшут крошечные отражения пламени, и я понимаю, что теперь моя очередь показать ей мой секрет. Она поднимает голову и выпускает изо рта дым. Отдает сигарету мне, и не успеваю я затянуться, как она, перегнувшись через меня, сдергивает с корзины салфетку. Я и не пытаюсь ее остановить. Нам обоим ясно, что наша ссора закончилась полным миром.

Барбара вынимает из корзины два яйца. Усмехаясь, поднимает их повыше, чтобы мне было видно. Я киваю. Она осторожно откладывает их в сторону. Я передаю ей сигарету, она затягивается, а я тем временем тоже лезу в корзину и достаю маленький сверток, завернутый в жиронепроницаемую бумагу. Разворачиваю. Два ломтика

бекона.

— А я-то думала, тут всякая вкуснота для их ночного пира вдвоем. Конфеты там, пиво…

Она вытаскивает несколько картофелин и морковок. Я — банку консервированной ветчины и кусок солонины.

— Чудной какой-то ночной пир, — замечает Барбара.

Я опять шарю в корзине и обнаруживаю маленькую беленькую коробочку. На этикетке печатными буквами знакомые слова: «В. Уолуорт Уоткинс, М.Ф., ЧНФО, ЧБОА[4], фармацевт и окулист». А пониже от руки написано: «К.Р.Д. Хейуард. До 10 лет. „Эм-эндБи“, таблетки. По одной три раза вдень, запивать водой».

— «Эм-энд-Би», — задумчиво говорит Барбара. — Их дают, если у тебя температура.

Знаю. Сам принимал. А эти, наверно, остались еще с зимы, когда Кит чем-то болел.

Барбара снова затягивается и шарит рукой в корзине. На этот раз она вытаскивает конверт. Запечатанный, но без адреса, даже крошечного иксика и то нет. Она смотрит на меня с лукавой заговорщической улыбкой.

---

[4] Примечания: 4

Магистр фармацевтики, член Научного фармацевтического общества, член Британской оптической ассоциации.

Я забираю у нее конверт. В чужое письмо мы заглядывать не станем. Одно дело — изучать отпечатки на промокашке, на них смотреть никому не возбраняется, но вскрывать запечатанный конверт — совсем другое дело. Это известно каждому.

Барбара сидит и задумчиво наблюдает за мной, лениво выпуская изо рта дым. Потом медленно наклоняется вперед, так что ее лицо оказывается в считанных дюймах от моего.

— Ты что? — опасливо отпрянув, спрашиваю я. Она придвигается еще ближе и прижимает свои губы к моим.

Проходит несколько секунд. Барбара отодвигается и спрашивает:

— Приятно было?

Приятно? Об этом, вообще-то, я подумать не успел. Все мои мысли были заняты гнездящимися во рту микробами.

— Дидре говорит, очень приятно.

Она снова нагибается ко мне. Я закрываю глаза, но на этот раз все же не отклоняюсь. Чувствую прилипшую к ее нижней губе табачную крошку; не очень ясно, куда делся горящий кончик сигареты. В голову приходит странная мысль: вот я и выяснил значение *х.*

Барбара снова отнимает губы и смотрит на меня:

— Ну как?

— Очень приятно, — вежливо отвечаю я.

Вдруг — толчок, я растягиваюсь на земле, а она садится на меня верхом. И, перегнувшись, вытаскивает из сундучка штык. Затем выхватывает у меня из руки письмо и взрезает конверт.

— Не надо! — кричу я. — Нет, нет, нет!

Пытаюсь сесть, но она устроилась на мне прочно, я ничего не могу поделать. С торжествующей улыбкой она вынимает письмо из конверта.

— Не надо! — воплю я и бьюсь, как выброшенная на берег рыба. — Не смей! Нельзя же, нельзя!

И вдруг замечаю, что сквозь листву за нами кто-то наблюдает.

— Можно мне переговорить с тобой, дружище? — слышится до жути знакомый голос.

Отец Кита. И где — здесь! Да еще сейчас. Вот тебе на!

Он стоит в ожидании ответа, а Барбара тихонько слезает с меня. Мы не смеем поднять друг на друга глаза. Я замечаю, что отец Кита тоже отвел взгляд. Барбара принимается складывать съестное обратно в корзину. Я выползаю на улицу и стою перед Китовым отцом, покорный своей

участи.

— Принеси корзину, — мельком взглянув на меня, отрывисто командует он и ждет.

Я послушно забираю корзину у Барбары. Она послушно выпускает плетеную ручку и шепчет:

— Не отдавай ему! Смотри, нельзя ему ее отдавать!

Держа корзину обеими руками, я следую за отцом Кита к их дому. Меня мутит от страха. Впервые отец Кита обратился прямо ко мне. И назвал меня «дружище», словно я член их семьи.

Все равно — корзину ему не отдам. И когда он подходит к боковой двери гаража, я, немного опомнившись от потрясения, решаю твердо: не отдам ни за что.

Еще не знаю, как мне это удастся, но не отдам ни при каких обстоятельствах.

Даже если он назовет меня «голубчик».

Над верстаком горит лампа. Отец Кита склонился над небольшим куском металла, зажатым в огромные тиски. Насвистывая нескончаемую мелодию, он нагибается еще ниже — видимо, что-то измеряет микрометром. Воздух настоян на запахах опилок и машинного масла, цемента и автомобиля, и — страха.

Свист внезапно обрывается.

— Дельный совет, старина, — говорит отец Кита. — Дурацкие игры. Не играй в них.

Тишина. Он снимает микрометр и закрепляет его на другой части металлического предмета. Я наблюдаю за ним, как зачарованный, не представляя, что тут говорить и что делать.

— Глупые игры, «понарошки» всякие, — вглядываясь в микрометр, продолжает он. — Вот предложит тебе кто-нибудь сыграть в «понарошку», а ты скажи: «Нет уж, большое спасибо, не такой я дурак». Ребенок, взрослый — не важно. Отвечай: «Нет, спасибо. Этот номер не пройдет».

Внезапно он вперяет в меня внимательный взгляд, тонкие губы растягиваются в улыбке:

— Да?

Я безмолвно киваю. Он продолжает изучать мою физиономию.

— Понимаешь, дружище, с такими «понарошками» люди по собственной глупости оказываются в идиотском положении. Влипают в жуткие неприятности. С Китом я уже потолковал. Не хочу, чтобы его подбивали на новые глупости.

Он снова улыбается своей жуткой улыбкой, но на этот раз я улавливаю в ней очень слабый оттенок печали, который подметил раньше в улыбке матери Кита. Тут до меня доходит, что

отцу Кита разговор наш тоже трудно дается, и на миг мне открывается куда более всеобъемлющая и удивительная истина: взрослые, оказывается, принадлежат к тому же самому виду, что и я. И даже отец Кита принадлежит к родственной мне ветви животного мира.

— Словом, игра окончена. Да?

Я опять киваю. Ничего другого ведь не остается.

— Тогда — корзину.

Корзину. Вот и до нее дошло.

Я смотрю в пол. Молчание. Оказывается, бетонная поверхность куда менее однородна, чем принято думать. В нее вмурованы разного размера камешки. Некоторые каким-то образом высвободились и исчезли, оставив лишь углубления той же формы.

— Корзину. На верстак, дружище.

Я по-прежнему смотрю в пол. В некоторых углублениях, замечаю, нашли приют камешки помельче — ни дать ни взять раки-отшельники в пустых раковинах улиток.

— Я дважды повторять не буду, голубчик.

Все равно — тишина, я не шевелюсь. Сквозь пелену страха пробивается еще одна поразительная мысль: он ничего не предпринимает,

потому что ничего предпринять *не может.* Не может меня высечь, потому что мне несказанно повезло: милостью Божией он мне не отец. Не может выхватить у меня из рук корзину, потому что считает ниже своего достоинства добиваться чего-то не запугиванием, а силой. Ему остается только ждать, что я покорюсь.

А я не покорюсь.

Ничего подобного по смелости и отчаянности я еще в жизни не совершал. От ужаса и ликования у меня руки-ноги затряслись.

А молчание все длится. Я отрываю взгляд от пола и смотрю ему в лицо. Он поднимает глаза от работы и смотрит на меня. Мгновение мы пристально глядим друг на друга.

От улыбки нет и следа. Правда, он вроде бы и не сердится. Скорее, совершенно сбит с толку. Не знает, как ему действовать.

И вид у него — несчастнее некуда.

Мы оба быстро отводим глаза.

– *Пожалуйста!* — непривычно тихим голосом молит он.

И я сдаюсь. Против этого страшного, отчаянно бесстыдного слова мне не устоять. Я ставлю корзину возле тисков.

И понимаю, что совершил самый малодушный,

самый трусливый в жизни поступок. В течение одной-единственной минуты я скатился с героических высот на самое дно. И вдруг слышу за спиной неторопливые спокойные шаги и голос матери Кита:

— Тед, милый, Кит *до сих пор не* сделал задания по математике, а ведь он, бедняжка, сидит уже полтора часа…

Шаги замирают.

— Здравствуй, Стивен, — удивленно говорит она.

Я не могу посмотреть ей в лицо. Наступает молчание, по моим ощущениям — бесконечное; я и не глядя знаю, что она сейчас делает. Не сводит глаз со стоящей на верстаке корзины. Проходит еще вечность; теперь, я чувствую, она посматривает на меня, на отца Кита, опять на корзину…

И на кое-как наброшенное мятое полотенце, которое уже не закрывает содержимого корзины. На яйцо, которое Барбара впопыхах разбила. На вскрытый конверт.

— А, вот спасибо, — невозмутимо произносит она, и становится ясно, что прошел всего миг, не более. — Не те ли это продукты, которые вы с Китом брали на свою военную базу?

Она подходит к верстаку и уже готовится протя-

нуть руку. Отец Кита молча отодвигает корзину подальше и с прежней усмешкой склоняется к тискам.

Снова проходит вечность; мать Кита опять поворачивается ко мне и спокойно говорит:

— Ступай-ка, найди Кита, подбодри его немножко. — И, обернувшись к отцу Кита, добавляет: — Помоему, на сегодня математики уже хватит, верно?

Что происходит дальше, я уже не слышу, потому что опрометью выскакиваю во двор. Там, напротив гаражной двери, сидит на кухонной приступочке Кит и ждет, держа в руке тетрадку. Он смотрит на меня без всякого удивления — то ли измученный битвой с математикой, то ли запуганный домашними баталиями. Я даже не пытаюсь его подбодрить, как советовала его мать. Не могу выдавить из себя ни слова, потому что сгораю со стыда.

Я бегу обратно на улицу. Меня там поджидает Барбара Беррилл, испуганная и подавленная.

— А корзина?.. — шепчет она, глядя на мои пустые руки. — Он ее все-таки отнял. Что он сделал? Бил тебя палкой?..

Но слова ее до меня почти не долетают, потому что я уже далеко.

Я бегу домой к маме. Жизнь кончена.

— Я ничего не смогу сделать, если ты не расскажешь мне, что стряслось, — в десятый раз говорит мама.

— Ничего, — тоже в десятый раз с отчаянием повторяю я.

— Но ты ведь плакал, я же вижу. Только посмотри, на кого ты похож!

— Не плакал я!

— В школе что-нибудь? Может, из-за экзаменов волнуешься? Другие мальчики тебя опять дразнят? Обзывают?

— Нет.

— С Китом поссорился?

— Нет!

Даже мой отец замечает, что в доме что-то неладно. После обеда он усаживает меня в кресло, сам садится напротив и с грустным сочувствием говорит:

— Если б я только мог, я взял бы у тебя все твои напасти в обмен на мои собственные. Знаю, знаю, таких бед, что свалились на твою голову, свет еще не видывал. Мои-то покажутся тебе совсем не страшными. Известно: чужую беду рукой разведу.

Как, у папы тоже неприятности?! Если бы в ту

минуту я был способен улыбаться, то улыбнулся бы непременно. Какие у него могут быть неприятности? Он родине не изменял. Не проваливал порученного ему задания, не выдавал доверенной ему тайны и не бросал больного голодающего человека умирать. Его не изводила лезущая в нос сладковатая вонь, не преследовала навязчиво звенящая в ушах нежная музыка Ламорны, а теперь и та, и другая утрачены навеки.

— Но есть ведь еще одно присловье: утро вечера мудренее, — продолжает отец. — Проснешься завтра, и сегодняшние беды станут уже вчерашними, вовсе не такими уж неодолимыми.

Очень может быть, только дожить до этого завтра не так-то легко. Как *проснуться* утром человеку, который всю ночь не спал? Джефф давно спрятал под кроватью стопку старых журналов с фотографиями голых теток и погасил фонарик, а у меня сна ни в одном глазу. Слышо, как позади стоящих на другой стороне домов идут последние электрички — одни бойко тарахтят под уклон, другие, следующие в противоположном направлении, натужно взбираются на насыпь; в долгие интервалы между ними я лежу, дожидаясь очередного состава. Наконец встаю и, приподняв светомаскировочную штору, высовываю голову.

В прогале между домами Шелдонов и Стоттов на еще светлом закатном небе висит тонкий лунный серпик, похожий на натянутую улыбку, словно оставшуюся от прошедшего тем путем отца Кита. Но сейчас серпик смотрит в другую сторону — я же помню, куда он смотрел, когда я последний раз глядел на луну. То есть он занял позицию, прямо противоположную прежней — в точности как я. Теперь его рожки указывают не на юг, а на север, и бледный круг полной луны, лежащий между ними, вотвот угаснет.

К завтрашней ночи он исчезнет совсем.

Однако теперь в кромешной тьме уже ничего не произойдет. А вдруг? Я ложусь в постель и наблюдаю, как тускнеет слабый сумеречный ободок вокруг шторы. Глубокой ночью, когда электрички уже не ходят, мимо медленно пыхтит паровоз и долгодолго громыхают груженые платформы, а паровоз уже едет, пофыркивая, в снах совсем других людей.

Никакого облегчения в своем бедственном положении я не замечаю, оно становится только хуже. В голове полная каша. Перед глазами неотвязное видение: некто темный, едва различимый, падает с темного неба в безлунную ночь и одновременно лежит на чужой голой земле,

умирая от голода и холода. А вокруг, словно в насмешку над его одиночеством, плывет сладковато-затхлый запах какого-то неясного счастья и доносятся заунывные звуки старой печальной песни под названием «Ламорна».

Должно быть, я все же уснул, потому что вдруг просыпаюсь, терзаемый новой мукой: *он* умирал там, в сыром угрюмом подземелье; ухаживая за ним, мать Кита обвивала своими светящимися во мраке руками угасающий призрак, а мы с Китом в это самое время барабанили по рифленому железу у него над головой.

Я встаю и на цыпочках пробираюсь через лестничную площадку в спальню к родителям, как раньше, когда мне, еще совсем маленькому, снился кошмар. В спертом воздухе слышится их с детства знакомое сопение, тяжелое и неровное.

— Мне плохой сон приснился, — жалобно шепчу я.

Они не слышат и продолжают самозабвенно сопеть. Я сажусь в изножье кровати и осторожно ползу вперед, забираясь под одеяло и простыни, пока наконец не устраиваюсь в узком ущелье между их спинами. Я снова стал маленьким.

Но теперь старое надежное прибежище не кажется таким уютным, как раньше. Возвыша-

ющиеся с боков стены из плоти теснят и грозят вот-вот сомкнуться. Родительская увлеченность процессом сна лишь подчеркивает мое отчаянное одиночество в этом мире. Я лежу, сна и впрямь ни в одном глазу, а может, я уже до того запутался, что не могу отличить сон от яви. Сейчас умирающий — не он, а я. Все мое существо как громом поражает мысль, что однажды я буду лежать под землей в гробу. Мое тело, которое в эту минуту мучительно корчится в темноте, превратится в комок безжизненной материи, стиснутый с боков деревянными стенками, а сверху на грудь и лицо будет давить крышка гроба. Впервые до меня доходит, что рано или поздно настанет день, когда я умру и уже навсегда останусь мертвым. Меня охватывает слепой ужас. Я кричу пронзительно, до визга, но звука нет, потому что я мертв и лежу глубоко под землей. Мертв навсегда.

Вдруг вспыхивает свет, такой яркий, что я не могу как следует открыть зажмуренные глаза. Сквозь слезы смутно вижу склонившихся надо мной маму с папой, на лицах у них написан страх внезапно разбуженных людей.

— Родной мой, что с тобой? — испуганно спрашивает мама. — Ты должен объяснить нам, в чем дело!

Я продолжаю рыдать, не в силах шевельнуться в тесном гробу, не в силах ничего объяснить; теперь я не в состоянии даже говорить, даже просто качнуть головой.

Наутро я обнаруживаю, что папа одновременно прав и не прав. Мои беды меньше не стали, зато я по крайней мере знаю, как мне с ними быть.

Я обязан сделать очередную попытку одним махом исправить все мои ошибки, и на этот раз — без осечки.

Я обязан сойти в темное подземелье и оказать умирающему там человеку помощь, без которой ему не выжить. При этой мысли меня мутит от страха. Привидевшийся ночью страшный сон — если то был сон — не оставляет меня и днем, во время уроков. У нас экзамен, сочинение, а я половину отведенного времени сижу, уставясь на чистый лист, потому что никак не могу выбрать тему: то ли писать «Дом англичанина — его крепость», то ли «Радости безделья». Голова моя целиком занята совсем другим экзаменом, который мне предстоит сдавать после школы, когда я спущусь в обитаемую могилу.

Зато на этом экзамене хотя бы не надо ничего выбирать. Вернувшись из школы, я прямиком бегу в ванную комнату и отыскиваю в шкафчике

коробочку с пилюлями, которые мне прописали прошлой зимой. Заскакиваю в чулан под лестницей, где мы с Джеффом ночевали во время самых жестоких воздушных налетов; пошарив над электросчетчиком и щитком с пробками, нахожу рядом с аптечкой первой помощи множество разных пакетов и банок с консервами, которые мама совала туда на самый крайний случай — если вдруг в дом попадет бомба, и мы, как мисс Даррант, окажемся погребенными под обломками. Я беру банку сардин и банку сгущенки, пакет сухого печенья с сыром и пакет яичного порошка. Мы с Джеффом давно уже не спим под лестницей, да и вообще трудно вообразить, как именно, по маминым представлениям, мы с ним могли бы тут воспользоваться яичным порошком.

Я складываю провизию в школьный ранец. Но вот найти достойную замену тому, что находилось в запечатанном конверте, я, конечно, не в силах. Придется рассказывать, что произошло. А поймет *он* что-нибудь по-английски? На каком языке он объяснялся с матерью Кита? Раз она немецкая шпионка, стало быть, балакает по-немецки. Я напрягаю воображение, пытаясь представить себе, как она произносит эти гортанные звуки, которыми славится немчура… Но

она ведь не немецкая шпионка! А если все-таки?.. Впрочем, все эти сомнения остались в далеком прошлом. Или нет?

— Я ухожу играть, — сообщаю я маме.

Она пристально смотрит на меня и недоверчиво спрашивает:

— С Китом?

— Нет.

— Живи своим умом, — напутствует она. — Не позволяй ему помыкать тобой.

И я снова отправляюсь в это жуткое путешествие. Теперь, когда я один, оно, естественно, пугает меня больше прежнего, и поджидающая в конце полная неизвестность кажется еще бездоннее, потому что на нее падает тень не оставляющего меня ночного кошмара.

За несколько дней сухого зноя озерцо в тоннеле превратилось в цепочку луж. Живые изгороди в Закоулках утратили свежесть промытой дождями зелени и посерели от пыли. Опять стоит жара, как в тот день, когда я ходил туда вместе с Китом; в воздухе ни дуновения. Но небо отливает тревожной желтизной, время от времени где-то рокочет и погромыхивает — то ли гром, то ли дальний воздушный налет.

Одна за другой позади остаются подрываю-

щие мое мужество вехи. Платан с обрывком гнилой веревки. Заросший щавелем и кислицей лужок. Гребень крапивы. Ботинок. Развалившееся кресло. Потом собачий лай и сами псы. Сегодня их четверо, и держатся они смелее, чем тогда: ведь я один и от меня прямо-таки разит страхом. С каждой атакой они подступают все ближе, один пытается цапнуть меня за руку. Два заходят сзади. В панике я резко оборачиваюсь, ранец проносится перед самыми их мордами, вынуждая псов на миг отступить. Я поспешно стаскиваю ранец с плеч и принимаюсь вращать вокруг себя. Ребята, высыпавшие из «коттеджей», наблюдают за схваткой с прежним бесстрастием. Один, подобрав с земли камень, швыряет в меня. Я ухитряюсь увернуться даже в разгар обороны от собак. И каждой минутой этого противоборства я искупаю свое прежнее малодушие.

Только через год я стану недосягаем для тех ребячьих глаз, и даже самый настырный пес, гавкнув напоследок, махнет на меня лапой.

Вот высохший пруд… Заросший меловой карьер… Зеленое море бурьяна, из которого, словно рангоуты затонувшего корабля, торчат сломанные оглобли повозок. Я иду все медленнее и медленнее; наконец останавливаюсь. Вот и до-

брался.

В «Сараях» летнее разнотравье бушует неуемней прежнего. Кирпичные фундаменты и сплющенные листы рифленого железа теперь разглядеть еще труднее.

Я заставляю себя сделать несколько шагов вперед и опять останавливаюсь: в нос бьет неприятный, навевающий чувство безысходности запах бузины. Сквозь зелень проступает кирпичная кладка, вон и железные листы над уходящими вниз ступенями. Никаких признаков присутствия человека. Затаив дыхание, я прислушиваюсь. Ни звука. Только отдаленные раскаты грома и недолгий, но бесцеремонный шум очередной электрички.

Настоящая могила.

И вдруг в запахе бузины я различаю другой, едва ощутимый запашок; раньше я его не замечал. Это вонь человеческих испражнений на свежевскопанной земле. Значит, там, внизу, кто-то живой. И в глубокой тишине, когда стихают громовые раскаты, а поезд, давно пройдя тоннель, уже подкатывает к станции, я слышу те, прежние звуки. Тихое сдержанное покашливание.

Да, *он* все еще здесь, меньше чем в двадцати футах от меня.

И тут я, естественно, совершенно теряюсь: что мне теперь-то делать? Живо представляю себе, как мать Кита, покинув мир серебряных безделушек и серебристого перезвона, спускается, ступень за ступенью, по высоченной лестнице нашего мира все ниже, пока не оказывается наконец там, где сейчас стою я — в запахах бузины и экскрементов; но она идет еще ниже, в подземный мир.

Я медленно подхожу к верхней ступеньке. Покашливание смолкает. *Он* меня услышал.

Ступени раскрошились и осыпались. Там, под рифленым железом, они тонут во тьме. Я знаю: из этой тьмы за мной следят *его* глаза.

Очень хочется нарушить тишину, сказать что-нибудь, но никак не найти подходящих слов.

Я достаю из ранца припасы, кладу их на верхнюю ступеньку. И догадываюсь, что принести надо бы и другое — хоть какую-то весточку вместо письма, которое я не уберег. Надо бы объяснить, почему *она* так долго не приходила, а теперь уж не придет никогда.

Но это невозможно. Я принес все, что мог. Чувствуя на себе *его* взгляд, я поднимаю с земли ранец, собираясь уйти.

И тут из тьмы — *его* голос. Одно едва слышное

слово:

— Стивен?

10

Понял ли наконец Стивен, услышав свое имя, кто сидит там во тьме?

Спустя полвека я пытаюсь из сохранившихся обрывочных воспоминаний воссоздать ту историю, но и теперь, честно говоря, не знаю, понял он или нет. Помню только, что кровь застыла в его жилах при этом звуке. И все тело словно сковало льдом — он замер, согнувшись под наполовину надетым ранцем, не в силах ни шевельнуться, ни слова сказать, ни даже думать.

— Стивен?

Опять, и так же тихо, как в первый раз. Выходит, сидевший там человек узнал Стивена в лицо. И его имя было ему тоже известно.

— Что ты тут делаешь?

Голос был по-прежнему тихий, но резкий, в нем слышались тревога и недоверие. Но ни тени чужеземного акцента. По выговору он не похож и на бродягу, его можно было бы принять даже за какого-нибудь соседа по Тупику. Или за школьного учителя. Словом, за *своего.*

И тем не менее Стивен не понял, кто перед

ним?

По сию пору меня неотвязно мучает вопрос: а что думал об этом сидевший во тьме человек? Полагаю, он просто решил про себя, что мальчик обо всем догадался. Ему, наверное, в голову не приходило, что Стивен может и не догадаться. И уж безусловно не подозревал, что Стивен одновременно догадывался и не догадывался, кто *он* такой.

— Ты зачем пришел?

Сделав над собой усилие, Стивен указал на принесенную провизию.

— Тебя Бобс прислала?

Бобс. Это вылетевшее из подземелья имя ошарашило Стивена даже сильнее, чем раньше его собственное, потому что на его памяти никто не называл *ее* так, кроме отца Кита. Отвечать было нельзя; не мог же он признать, что ему известно, кто такая Бобс. Тем более что это домашнее прозвище произнес старый бродяга. Немец. Старый бродяга и вдобавок немец с почти таким же знакомым голосом, как голос самой матери Кита.

Тут, помню, кашель возобновился, и Стивен, собравшись с духом, поднял глаза и глянул во мрак, который теперь немножко поредел и в нем проступила темная копна волос и косматая, дви-

гавшаяся при кашле борода. На миг сверкнули наблюдающие за Стивеном глаза. Опершись спиной о стену подземной обители, человек сидел, видимо, в куче беспорядочно сваленных на земле одеял и мешковины.

Неужто Стивен и впрямь не понимал, кто перед ним? Мне сдается, он все еще считал чужака старым бродягой, но, возможно, теперь до него стало доходить, что в то же время это вовсе и не старый бродяга. Я почти уверен, что он по-прежнему не сомневался в главном постулате: этот человек еще и немец. Но, вероятно, начал понимать, что немец этот — самый настоящий англичанин.

Приступ кашля стихает.

— Она прийти не может? — снова спрашивает голос, но уже мягче, без прежнего напора и подозрительности.

Я отрицательно мотаю головой.

— А письмо есть? Ты принес письмо?

Снова мотаю головой. Он вздыхает:

— А она почему не может прийти?

Как объяснить? С чего начать?

— Не может, и все.

Опять молчание, и снова голос, еще тише:

— Что-то у нее неладно?

Я снова отмалчиваюсь. Он опять все понимает.

И снова вздыхает:

— С Тедом небось?

Я своими ушами слышал, как мать Кита произносила это имя — отец Кита ведь тоже звал ее по имени. А у меня все равно не укладывается в голове, что и Китов отец обладает этой элементарной принадлежностью любого человека; и его имя кажется совершенно неузнаваемым, когда вылетает — как только что мое имя или матери Кита — из чуждого мрака. Я по-прежнему молчу, уставившись в землю.

Раздается негромкий, похожий на стон звук.

— Я прошу прощения, — говорит он еще тише. — Можешь ты ей это передать?

Я не отвечаю, и на этот раз он не вполне уверен, что правильно понимает мое молчание.

— Передашь? Да? — настойчиво спрашивает он.

Я согласно киваю — ровно по той же причине, по какой кивал и прежде: ничего другого ведь не остается, хотя не представляю, как мне удастся что-либо ей передать.

— И скажи… — Он замолкает. — Скажи ей…

Снова кашляет и, даже когда приступ проходит, говорить не может. По-моему, его бьет дрожь.

— Нет, больше ничего, — после долгой паузы

произносит он. — Значит, всему конец. Кончено.

Молчание. Я все еще стою, скрючившись, на верхней ступеньке; колени свело от напряжения. Справился ли я уже с заданием? Объяснил ли все, что в моих силах? Сказал ли он мне все, что в состоянии сказать? Можно ли мне уйти? Молчание длится и длится. Видимо, больше ему нечего добавить. Я распрямляюсь.

— Не уходи, — сразу останавливает он, и в его повелительном тоне слышится та же нотка, которую я улавливал у родителей Кита: едва заметный оттенок мольбы. — Задержись на минутку, поговори со мной. А то лежу тут один, и такая порой тоска берет… Ничего не видно, только островок зелени над лестницей. И заняться нечем, остается только размышлять. Своеобразный складывается взгляд на мир… Сядь.

Я покорно опускаюсь на верхнюю ступеньку, как всегда пасуя перед авторитетом взрослых.

— А, собственно, почему *ты?* Почему она выбрала *тебя?*

Я пожимаю плечами. Разве это можно объяснить?

— Ты ведь прежде из кожи вон лез, чтобы всем вокруг насолить. Совал нос, куда не надо. Игра была такая, что ли?

Я молчу. Объяснить же невозможно!

— А теперь что? Новая игра? Что она тебе сказала?

— Ничего.

— Ничего. Но ты же, однако, пришел.

Я опять не знаю, как реагировать. Да, пришел.

— Ну и что ты намерен делать дальше? Расскажешь обо всем кому-нибудь?

Да. Нет. Не знаю я, что я намерен делать дальше.

— Да или нет? — настаивает он.

Сделав над собой усилие, я пожимаю плечами.

— И что сие означает?

— Нет, — едва слышно выдавливаю я.

Внезапно меня захлестывает ощущение, что все происходящее невероятно, фантастически странно. Я беседую со старым бродягой. Немец берет с меня слово хранить тайну. И все это происходит в душный летний предгрозовой полдень, в какой-то яме, вырытой под пышным кустом бузины. А самое странное состоит в том, что это *вовсе и не странно.* И в бузине, и в осыпающихся кирпичах, и в этой подземной яме, в душном дне, в этом больном человеке есть что-то очень обыкновенное.

— Как Милли? — спрашивает он.

— Нормально, — пожимаю плечами я.

Он знает имена всех нас. Мороз подирает по коже от мысли, что немец, то есть враг, свалившийся ночью с неба, говорит на нашем языке в точности как мы; он досконально все знает про нас и нашу жизнь, прямо как будто свой. Явился, значит, и в наших самых потаенных местах начал вести в темноте за нами слежку. Невидимый, ходил, словно призрак, среди нас и вызнал наши имена, запомнил нас в лицо.

— А как поживает… — И смолк. Видимо, пытается вспомнить имя еще одного человека, про которого хочет спросить. — …мать Милли? — наконец произносит он.

— Нормально, — опять говорю я и пожимаю плечами.

До чего же у него обыкновенный, знакомый голос. Но ведь сам *он* вовсе не обыкновенный и не знакомый! Он — старый бродяга, чумазый и бородатый. Еще и *немец!* И от этой его особенности никуда не денешься, она — неотъемлемая часть его натуры, как у мистера Горта — склонность к убийству; она так же вкрадчива и неотвязна, как запах база, черной бузины, преследующий меня всю жизнь, и такая же нечистая, антисанитарная, как микробы, которые этот чужак

распространяет.

— Тебя собаки облаивали, я слышал, — говорит он. — Ты их разве не боишься?

Я опять пожимаю плечами.

— А если б я попросил: «Вот ведро, сходи мимо собак к колодцу за „Коттеджами“ и принеси мне воды»?..

Я киваю. Он, однако, не делает попытки дать мне ведро.

— Ага, еще как пойдешь, только пятки засверкают, — хмыкает он. — Лишь бы убраться от меня подальше. Пойти-то пойдешь, да только не вернешься.

Я ничего не говорю. Он ведь все сказал за меня.

— Бедный малыш, — говорит он совсем другим тоном. — Но так ведь оно и происходит. Когда вступаешь в игру, ты — орел, герой из героев. Но игра-то продолжается, час от часу становится страшнее, и ты выдыхаешься — невозможно же быть орлом бесконечно. И вот однажды ночью все рушится. Ты летишь в полной тьме, за пятьсот миль от дома, и вдруг тьма оказывается внутри тебя тоже. В голове, в животе. Ты отключаешься, как заглохший мотор. Не в состоянии ни думать, ни шевелиться. Ничего не видишь, не слышишь. А тьму целиком затопляет вопль ужаса, отчаян-

ный, нескончаемый, и вырывается он из *тебя,* из *твоего* нутра.

Он заплакал. Ни с того ни с сего, на каком-то слове. Я рад был бы оказаться где угодно, хоть на краю земли. Но конечно же должен сидеть и ждать продолжения.

— И тогда твоим товарищам приходится доставлять тебя домой, — шепчет он. — Их тоже гложет тоска, но они обязаны держать себя в руках и довезти тебя до дому. Они верили в тебя, а ты их подвел. И ты уже никогда не сможешь смотреть им в глаза, никогда не будешь с ними на равных. С того дня ты — отверженный. Тебе места больше нет нигде.

Его снова начинает трясти, поэтому плачет он неровно, со странными прерывистыми всхлипами. Постепенно плач стихает.

— Выходит, всему конец, да? — Голос у него уже опять спокойный, но очень тихий и какой-то бесцветный. — Я, конечно, всегда знал, что к тому рано или поздно придет.

Из заслоненной деревьями выемки выкатывает электричка.

— Единственное, что не дает мне сойти с ума, — говорит он, — это шум поездов. Я лежу и жду следующего. Трижды в час — в город, трижды в

час — из города. К домам в Тупике. Или в город, в огромный, необъятный мир. И я еду на каждой электричке. То в Тупик. То в город и дальше…

Его опять начинает бить кашель и дрожь.

— Ладно, ступай. Только отдай, что принес.

Из темноты ко мне протягивается белая рука и зависает в ожидании. Остается только подчиниться. Согнувшись в три погибели, я подлезаю под железные листы, оступаюсь на обвалившейся ступеньке и чудом не лечу вниз, в яму. Своим телом я загораживаю и без того скудный дневной свет, и единственное, что могу во тьме разобрать, — это запах: пахнет сырой землей, плесенью, старой мешковиной, протухшей едой, болезнью и тяжелым смрадным дыханием, как у стариков, что целыми днями сидят в читальне публичной библиотеки и дремлют над газетами.

По-прежнему не поднимая глаз и стараясь не вдохнуть случайно его микробов, я кладу провизию рядом с ним на землю. Поворачиваясь к выходу, искоса вижу, однако, что из темной всклокоченной волосни за мной наблюдают два лихорадочно посверкивающих глаза.

— Погоди, погоди! — говорит он.

Я гожу, с тоской глядя на верхние, освещенные солнцем ступени. Все же вдох сделать придется.

Я прямо-таки чувствую, как микробы проникают в мой организм. За спиной слышится скрип карандаша. Пауза. Затем треск вырываемого из блокнота листа и шорох сминаемой бумаги. Снова скрип карандаша. Опять шорох сминаемой и отбрасываемой бумаги.

— Какой смысл? — вздыхает он. — Тем не менее хочется что-нибудь ей передать…

Тишина. Похоже, он обо мне забыл. Я делаю движение к лестнице.

— Знаешь, а ведь я всегда одну ее… — негромко говорит он. Я замираю. — С самого начала. Больше никого, только ее.

Снова молчание. Очень осторожно я делаю новую попытку удрать. Но не тут-то было:

— Постой! Вот. Отнеси это ей.

Стараясь не смотреть на него, я поворачиваюсь. Он нетерпеливо сдергивает что-то, обернутое вокруг шеи. Складывает сдернутое в несколько раз и протягивает мне. Я неохотно подхожу ближе и беру сверток, мягкий, шелковистый и горячий — от его пылающего в лихорадке тела.

— Просто ей на память, — шепчет он. — И скажи… скажи… Ох, нет, ничего не говори. Отдай, и все. Она поймет.

И вот я уже выбрался по разбитым ступенькам

на свет, хватаю свой ранец, запихиваю в него зажатый в кулаке шелковистый сверток и пускаюсь в обратный путь, к Закоулкам.

— Стивен! — раздается взволнованный оклик. — Стивен! Скажи ей: «навеки». Запомнил? «Навеки».

Далеко на небосклоне, у самого горизонта, вспыхивает летняя зарница. Впереди раздается лай почуявших мое приближение собак.

Навеки.

Эти три слога тихонько звучат у меня в ушах, как прежде звучала Ламорна. Но в Ламорне слышался ласковый плеск набегающих на берег волн; а «навеки» похоже на звук, с каким ключ мягко поворачивается в отлично смазанном замке.

«Все кончено, — сказал он. — Навеки».

И мне ясно, что с этой минуты что-то навсегда будет заперто в прошлом — так мы с Китом запираем в сундучке от чужих глаз свои сокровища, так и меня самого запрячут однажды в предназначенный мне узкий ящик. И всегда ведь так было, с самого начала, сказал он. А повернуть ключ в скважине выпало мне. Навеки. Если только я исхитрюсь передать ей его слова, случившееся можно будет позабыть. Все станет как прежде.

А что же *он* в своей могиле под кустами бу-

зины? Не знаю, меня это не волнует, да и чего мне беспокоиться? Что там с *ним* ни случится, произойдет оно очень скоро и сразу же уйдет в прошлое. Навеки.

Ночь напролет это слово чарующе тихо и плавно крутится у меня в голове, будто ключ, проворачивающийся в замочке, что висит на нашем сундучке. И весь следующий день, на экзаменах по геометрии и французскому я ощущаю вкрадчивую мягкость свертка, лежащего у меня в кармане. Бледно-зеленый, в коричневых пятнах шелк, покрытый сетью неправильных черных линий. Это карта, только необычная; я лишь разок взглянул на сложенную в несколько раз ткань и сразу увидел, что там написаны немецкие слова: «Chemnitz… Leipzig… Zwickau…» Это карта *его* родины, последняя память о его прежней жизни. Меня больше не тянет смотреть на этот кусок шелка или размышлять о его нескрываемой немецкости. Мне просто хочется отдать его *ей* и тем трехсложным словом тихо повернуть ключ. Весь вопрос в том, как отдать. Не могу же я просто постучать им в дверь. Что я буду делать, если дверь откроет Кит? Или если его отец окажется где-то поблизости?

В голову приходит один-единственный вари-

ант: залезть в наше укрытие и ждать удобного случая. Она догадается, что мне надо ей кое-что передать. И найдет способ перебраться сюда через улицу.

Едва я заползаю на наш наблюдательный пункт, как замечаю там большие перемены. На плитке у входа красуется надпись: «БАЗА. ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Земля чисто-начисто подметена, на ней ни сухого листка, ни прутика. Жестяной сундучок прикрыт старенькой тряпицей, а на ней, в самом центре, стоит баночка из-под джема с букетиком поникших цветов черной бузины.

В нос сразу ударила разлитая в воздухе противная сладость, а в ушах, вытесняя все другое, нежно зажурчала Ламорна. От мысли, что сюда приходила Барбара, совсем одна, и оставила свой след, меня охватывает приятное волнение. Но его сметают возмущение и тревога: да как она смела?! Я поскорее сдергиваю с сундучка тряпку с банкой — чтобы Кит, когда заползет сюда, не увидел этого безобразия.

Постепенно тревога проходит. Навряд ли Кит придет. Тот отрезок моей жизни закончился, назад вернуться невозможно. Я снова расстилаю тряпицу на сундучке, ставлю на место баночку с цветами черной бузины и принимаюсь на-

блюдать за домом Хейуардов. Там тоже кое-что явно изменилось. Сад попрежнему в идеальном порядке, но возле входной двери стоит нечто совершенно несуразное — предмет, какого прежде на крыльце не бывало никогда. Детская прогулочная коляска.

Я сразу прихожу в волнение. За все время, что меня пускали в дом Кита, я ни разу не видел там тети Ди или Милли. Пытаюсь представить себе, как тетя Ди заливается веселым смехом среди тамошней благоговейной тишины и перезвона часов… Или как Милли тычется замазюканной мордашкой в бархатную, сдержанных тонов обивку…

И снова слышу голос, шепчущий в подземной тьме мое имя. Я гоню от себя это наваждение. Незачем даже думать о нем, скоро все пройдет навсегда. Надо только подождать и не впускать такие мысли в голову.

Дверь открывается, выходит тетя Ди с Милли на руках. Милли плачет. На пороге появляется мать Кита, она стоит и молча смотрит, как тетя Ди усаживает Милли в коляску, пристегивает ремнями и быстро катит коляску к калитке. Мать Кита продолжает молча стоять на пороге, но вдруг срывается с места, бежит за сестрой и что-то

ей говорит. Тетя Ди останавливается и слушает, склонив голову. Милли верещит громче прежнего. Мать Кита бежит назад к входной двери. За ней тетя Ди. Они останавливаются и разговаривают на ступеньках крыльца, а Милли вопит у калитки. Ди закрывает руками лицо, потом уши.

По улице медленно идет миссис Эйвери, в руках у нее тяжелая сумка с картошкой. Миссис Эйвери меняет курс: перейдя дорогу, направляется к калитке Хейуардов и склоняется над Милли, чтобы успокоить малышку. К ним по дорожке устремляется тетя Ди, улыбаясь миссис Эйвери. С порога улыбается мать Кита.

Миссис Эйвери опять переходит улицу и шагает дальше к своему дому. Улыбка слетает с лица тети Ди. Взяв на руки ревущую Милли и опустив голову, она чуть ли не бегом устремляется к своему дому, небрежно толкая перед собой коляску.

Мать Кита делает несколько нерешительных шагов по дорожке, но, почувствовав, что с порога за ней наблюдает отец Кита, направляется следом за тетей Ди. Отец Кита подходит к калитке и, насвистывая, принимается осматривать штамбовые розы.

Когда мать Кита добирается до дома тети Ди, входная дверь уже заперта. Мать Кита стучит и

ждет. Опять стучит. И опять ждет. Все еще насвистывая, отец Кита уходит в дом.

Мать Кита бредет обратно.

С другой стороны Тупика приближается миссис Макафи. Она улыбается матери Кита:

— Ваши розы «Ина Харкнесс» — украшение нашего Тупика!

Мать Кита улыбается в ответ:

— Это все Тед — он и правда работает в саду не покладая рук.

Как всегда, спокойно и неторопливо она идет по дорожке. И, как всегда, тщательно одета; вокруг горла, по самый подбородок, обмотан шелковый платок, только на этот раз не синий, а красный.

Входная дверь закрывается. Я трогаю лежащий в кармане кусок шелка, но, похоже, теперь передать ей ничего не удастся. Все опять переменилось, и навсегда.

А насчет Кита я ошибся. Когда после ужина я заползаю в укрытие, он уже там меня поджидает.

Погруженный в свои мысли, Кит сидит, скрестив ноги, на земле, в середине чисто выметенной площадки. Хотя его здесь не было по меньшей мере недели две, он удостаивает меня лишь беглым взглядом — будто с нашей последней встречи прошло каких-нибудь два часа. И никак не объ-

ясняет, почему он столько времени не казал глаз и почему появился опять. С каменным лицом он сосредоточенно глядит на предмет, который вертит в руках.

Это штык.

Сундучок распахнут. Рядом на земле — тряпица, которой он был прикрыт, баночка с цветами черной бузины и плитка с надписью «БАЗА. ВХОД ВОСПРЕЩЕН».

Все ясно. На самом деле я с самого начала знал, что рано или поздно Кит придет. Я чувствую, как вспыхивает от стыда мое лицо, затем возникает другое, куда более неприятное ощущение в руках, в горле и где-то в животе. Страх.

Я тут же понимаю, что у меня есть один-единственный способ избежать предстоящего наказания. Можно же показать Киту шарф, лежащий в кармане моих коротких штанишек. За этим-то я и вернулся — хотел запереть шарф в сундучке.

Я расстелю его на земле перед Китом и скажу, что решил поставленную им задачу. Раскрыл тайну, которую мы начали расследовать вместе. Возьму и скажу: «Это секретное донесение для твоей матери. От старого бродяги в „Сараях“. Он немец. И болеет. Твоя мать взяла его себе в дружки».

Однако ничего этого я не делаю. Не показываю ему шарфа, потому что показывать его нельзя. И слов этих не говорю, потому что их не вымолвить.

Оторвав глаза от штыка, Кит впервые смотрит мне в лицо. Взгляд у него холодный.

— Ты показал ей наши секреты, — тихо говорит он.

— Не показывал! — вскрикиваю я.

И с опозданием сознаю, что он даже не назвал, кому *ей,* а мне не следовало подавать виду, что я знаю, о ком речь.

Он бросает взгляд на плитку, на тряпицу с баночкой, снятые с сундучка.

— Да, но я не показывал ей, что лежит внутри! — снова кричу я.

Правда ведь, не показывал. Она сама посмотрела! И потом, он никак не докажет, что сундучок хоть раз открывали.

Кит чуть усмехается отцовской усмешкой.

– *Не показывал!* — Я уже чуть не плачу от собственной искренности. — Честное-пречестное слово!

Кит кивает головой, медленно и размеренно, будто отсчитывает секунды, дожидаясь моего признания.

— А ты ведь, голубчик, клятву давал.

— Знаю, вот и *не показывал!*

Он вдруг поднимает штык и подносит к моему лицу. Уже не улыбаясь и не кивая головой, смотрит мне прямо в глаза:

— Поклянись еще раз.

Я опять, как тогда, кладу руку на плоскость штыка. И опять, как тогда, ощущаю кожей грозную, электризующую остроту лезвий.

— Клянусь!

— Что я не нарушал данной мною торжественной клятвы никогда и никому не раскрывать наших секретов.

Опустив глаза, я повторяю. Но я и в самом деле не нарушал! Не *раскрывал* наших секретов!

— И да поможет мне Бог, — повторяю я за Китом, по-прежнему не глядя на него. — Или пусть мне перережут горло и я умру.

Наконец усилием воли поднимаю глаза и вижу, что Кит вытащил что-то из сундучка и протягивает мне. Это сплющенная пачка от сигарет «Плейере».

Он все так же пристально смотрит на меня. Я сгораю от стыда.

— Это не… Я не… — беспомощно бормочу я. — Она, наверное, сама нашла ключ.

Вдруг лицо Кита оказывается у меня перед глазами; он опять усмехается, и я ощущаю прижатый к шее кончик штыка.

— Ты же клятву давал, — шепчет Кит. — Дважды клялся.

Говорить я не в состоянии. Дыхание перехватило то ли от ужаса, то ли от давления клинка на горло. Я пытаюсь чуточку отодвинуть голову. Но штык движется следом и давит еще сильнее.

— Ты же сказал: «Да поможет мне Бог», — шепчет Кит. — Сказал: «Пусть мне перережут горло, и я умру».

Я не могу вымолвить ни слова. Не могу шевельнуться. Я окаменел от страха, а лезвие давит все сильнее. На самом деле Кит мне горло, конечно, не перережет. Но пытка будет продолжаться, покуда он не рассечет кожу и не впустит обсыпавших лезвие микробов в мою кровь. Я не в силах отвести глаз от усмешки, что змеится в шести дюймах от моего лица. Она все ближе, ближе — так надвигалось лицо Барбары Беррилл, когда она меня целовала. Глаза Кита смотрят в мои зрачки. Глаза совершенно незнакомого человека.

А лезвие давит еще сильнее. И внезапно я начинаю сомневаться, что Кит рано или поздно остановится.

— И после этого ты все ей показал, — шепчет он.

От боли и унижения глаза мои наполняются слезами; я чувствую, что из-под острия штыка пробивается другой маленький родничок влаги: это брызнула, смешиваясь с микробами, кровь. И мне начинает казаться, что все правда, что я действительно показал ей наши секреты, хотя тут же возникает сомнение: а впрямь ли Кит имеет в виду Барбару Беррилл? Может, он подразумевает свою мать? Меня посещает дикая мысль, что каким-то необъяснимым образом мы говорим про них обеих и что наказывает он меня совсем даже не за мое преступление, а за то, которое сейчас совершается у него дома. И даже когда мой ужас достигает предела, я все же догадываюсь, у кого он научился так пытать именно этим орудием и отчего в разгар лета у его матери появилась привычка кутать шею платком по самый подбородок.

Медленно, очень медленно давление на мое горло нарастает. А мне всего лишь нужно достать из кармана шарф и отдать мучителю, как в свое время я отдал корзину его отцу…

Но этого я сделать не могу. Не могу позволить, чтобы Кит увидел те не предназначенные для чу-

жих глаз слова на шелке, которые послал матери Кита обитающий в «Сараях» пока еще живой призрак. *Chemnitz…Leipzig… Zwickau…* Разве можно их показывать?! Нельзя, причем не только ради *нее,* но ради самого Кита. Не могу я ему раскрыть, что такое на самом деле шпионаж; это страх, слезы, это тихий шелковистый шепот.

Chemnitz…Leipzig… Zwickau… Стоит только выговорить эти слова, и следом может выскочить имя, которое навлечет на Кита вечный позор, имя, которое я даже мысленно ни разу не посмел произнести.

Но Кит уже не усмехается. Лицо у него напряженно-внимательное. В уголке рта виднеется кончик языка — с таким сосредоточенным видом Кит обычно прилаживает к конструируемой модели особо заковыристую деталь. Жидкость уже стекает с горла мне за пазуху. Я вдруг слышу жалобное подвывание; скорее всего, это хнычу я сам.

Так мы и сидим, скрючившись, друг против друга, скованные логикой пытки. И останемся здесь навсегда. Я рад бы шевельнуть рукой и отдать Киту шарф. Но рука не слушается. В тот раз я уступил его отцу. Больше я уступать не стану.

И вдруг — все, конец. Давление на глотку осла-

бевает, затем прекращается. Я и не сознавал, что сижу с закрытыми глазами, но тут открываю их — посмотреть, что происходит. Усевшись на корточки, Кит разглядывает окровавленный штык. Потом тщательно вытирает его о землю.

— Поступай, как хочешь, голубчик, — холодно говорит он. — Хочешь — играй со своей подружкой в папы-мамы. Мне наплевать. И чего ты ревешь? — Он с презрением смотрит на меня. — Больно ж не было. Если ты вправду думаешь, что тебе было больно, значит, ты просто понятия о боли не имеешь.

Я вообще-то не плачу. В глазах у меня стоят слезы, дышу я пока еще судорожно, прерывисто, но плакать не плачу.

— Во всяком случае, старина, ты сам во всем виноват, — пожимает плечами Кит.

Порывшись в сундучке, он вынимает клочок наждачной бумаги, который держит там, чтобы начищать штык. Я уже ему явно неинтересен. Постепенно дыхание у меня выравнивается. Я все еще жив, и в нос опять ударяет резкая сладость цветущего база.

Никто из нас не произносит больше ни слова. Говорить уже нечего.

А шарф по-прежнему у меня в кармане. Кит

утратил самообладание на долю секунды раньше меня. Мир снова переменился. И, опять думаю я, навсегда.

Я пытаюсь незаметно проскользнуть в дом. Рубашка моя застегнута на все пуговицы, но до подбородка, как шарфик у матери Кита, она все равно не достает; к тому же кровь забрызгала воротник и темным пятном разливается на груди. Я хочу проскользнуть по лестнице в ванную и залепить горло пластырем, чтобы остановить кровотечение, а потом кое-как постирать рубашку в раковине.

Я уже на полпути к цели, и тут из кухни выходит мама.

— Где тебя носило? — сердито спрашивает она. — Что это за игры такие? Как сбросил ранец, вернувшись из школы, так он и стоит. А ведь у тебя завтра экзамены! Надо заняться повторением!

Я не успеваю открыть рот, чтобы ответить на град вопросов, а она уже заметила окровавленную рубашку.

— А это что такое? — еще сердитей говорит она. — Какие-то бордовые пятна! Надеюсь, не краска? Ох, Стивен, ради всего святого! Как прикажешь теперь ее отчищать? Это ж твоя школьная рубашка!

Вдруг она наклоняется ко мне поближе:

— А шея… У тебя на горле…

И, схватив меня за руку, волочет в столовую; там, спустив очки на кончик носа, за заваленным бумагами и папками столом сидит отец.

— Ты только посмотри! — кричит мама. — Посмотри, что теперь приключилось! Я *знала,* что там дело не чисто. Ты должен положить этому конец!

Отец осторожно расстегивает мой воротничок и осматривает горло.

— Кто это с тобой сделал, Стивен?

Я молчу.

— Уж не Кит ли? — спрашивает мать.

Я отрицательно качаю головой.

— Другой какой-то мальчик?

Я опять мотаю головой.

Отец бережно ведет меня наверх в ванную комнату.

— Не люблю издевательств, — замечает он. — Слишком много я их насмотрелся.

Набрав в раковину воды, он промывает рану; не помню, чтобы прежде он обращался со мной с такой нежностью. Мама стаскивает с меня окровавленную рубашку. Шарф падает на пол, но я успеваю схватить его и зажать в кулаке.

Из спальни появляется Джефф — узнать, из-за чего шум. Он встает в дверях ванной и наблюдает, как в воде, наподобие сигаретных дымков, только вверх тормашками, закручиваются алые струйки.

— Что случилось, малыш? — спрашивает он.

Джефф взял новую моду — всех подряд называть «малыш».

— Пытался себе горло перерезать?

— Если это сделал Кит, — опять вступает мама, — то тебе нужно поговорить с его родителями.

— Это была не игра, — отвечает отец, осторожно промокая кровь. — Дыхательное горло чудом не повреждено. Могли и артерию рассечь.

— Родной мой, ты *должен* сказать нам, кто это сделал, — требует мама. — Это вовсе не ябедничество.

Я молчу.

— Он не может говорить, — объясняет Джефф. — У него перерезаны связки.

— Пожалуйста, не встревай, Джефф, — говорит отец. — Спустись-ка лучше в чулан под лестницей и принеси аптечку первой помощи.

Он прикладывает клок сухой ваты к ране, чтобы остановить кровь.

— Ну, расскажи нам все же, Стивен, что стряс-

лось.

Молчание.

— Это кто-то из ребят? Что они говорили? Опять тебя обзывали? Как именно?

Молчание.

— Или кто-то из взрослых?

Я опять отмалчиваюсь; теперь можно вообще больше никогда не раскрывать рта, мелькает мысль.

— А где произошло? На улице? Или у кого-то дома?

– *Пожалуйста,* родной, расскажи, — умоляюще говорит мама. — Тебя же могли всерьез изувечить.

— Вообще могли прикончить, малыш, — добавляет вернувшийся с аптечкой Джефф. — Между прочим, кто-то стырил весь наш неприкосновенный запас.

— Почему ты не можешь нам рассказать, как это получилось? — своим мягким рассудительным тоном спрашивает отец. — Тебе велели никому ничего не говорить? Угрожали?

Молчание.

— А что еще произошло, Стивен? Что еще случилось?

— Может, это сексуальный извращенец? —

предполагает Джефф. — Ну, тот, который шлялся тут по ночам.

— Послушай, Стивен, — очень медленно, тщательно подбирая слова, говорит отец, — на свете бывают люди, которым доставляет удовольствие причинять другим боль. Иногда им нравится мучить детей. Они вытворяют всякие вещи, которые ребятишек пугают. Если с тобой приключилось нечто подобное, ты должен нам непременно рассказать.

— Ага, сначала он стырил НЗ, — подхватывает Джефф, — а потом перерезал Стиву горло, чтобы не болтал лишнего.

Отец мажет рану йодом. Боль куда сильнее, чем от штыка. Я морщусь и вскрикиваю. Отец достает из аптечки бинт и принимается обматывать мне шею.

— А может, это ты взял НЗ, а, Стивен? — очень тихо спрашивает он.

Я молча плачу от боли.

— Чтобы поиграть на базе? — продолжает отец. — Или кому-нибудь отдать? Какому-нибудь уличному побирушке? Который выпрашивал у тебя еды?

— А что? Тому старику-бродяге, например, — вставляет Джефф.

— Я не стану сердиться, Стивен. Это ведь дело доброе. Просто мне надо знать.

— Да отдал небось старику, что прячется в «Сараях», — говорит Джефф.

— Я думала, его уже забрали, неужто нет? — удивляется мама. — Уверена была, что после нападения на мальчика его посадили в тюрьму.

— Возможно, он уже вышел. Не исключено, что он и есть извращенец.

— Это бродяга, да, Стивен?

Я отрицательно качаю головой. Пытаюсь сказать: «Не бродяга. Не в „Сараях“». Но слова нейдут с языка, из горла рвется лишь громкий, по-детски отчаянный плач, как у Милли в прогулочной коляске.

Отец обнимает меня за плечи. Мама гладит по волосам.

— Бедный малыш, — произносит Джефф.

— Ты должен сообщить об этом куда следует, — вполголоса говорит отцу мама, когда мои рыданья немного стихают.

— Есть у нас телефон полицейского участка? — тоже вполголоса спрашивает отец, и я немедленно начинаю завывать отчаянней прежнего.

Раздается стук во входную дверь. От ужаса мой вой мгновенно смолкает: полицейские уже на

пороге.

Джефф уходит открыть дверь.

— Это Барбара Беррилл, — вернувшись, сообщает он. — Спрашивает, выйдет ли Стивен играть.

Я возобновляю вытье.

От глубокого сна без сновидений я пробуждаюсь с тревожным чувством: что-то не так.

Лежу и, прислушиваясь к сопению Джеффа, пытаюсь понять причину тревоги.

Ну да, вот оно в чем дело — болит рана на горле. Я принимаюсь его ощупывать и обнаруживаю под пальцами бинт. Да уж, теперь *все не так;* разом вспоминается и плач Милли, и тетя Ди, зажимающая ладонями уши, и напряженное лицо Кита перед моими глазами…

Утром придет полицейский допрашивать меня… А шарф? Ведь он его сразу найдет…

Кстати, где шарф? От ужаса я вскакиваю на постели. Не помню, куда я его дел! Бросил где-то, теперь кто угодно может на него наткнуться!

Сердце холодеет, я судорожно шарю под подушкой… Нет, вот он, весь в пятнах засохшей крови, — я же его туда сунул, когда мама укладывала меня спать и я наконец разжал кулак. И сразу перед глазами картина: полицейский обыскивает комнату, открывает шкаф с игрушками, перетря-

хивает одеяло и простыни… Надо спрятать шарф получше.

Значит, это меня и разбудило? Может быть. Или еще что-то не так? Только я не могу определить, что именно.

И где? В комнате? Или снаружи?

Я встаю и просовываю голову под светомаскировочной шторой. На улице такая же тьма, как в доме, и на фоне черного неба даже силуэты крыш напротив окна можно разглядеть далеко не сразу. Передо мной то, чего мы с Китом дожидались: безлунная ночь.

Но в этом густом мраке ощущается чье-то присутствие. Слышится какой-то звук. Очень тихий, но явно посторонний и непривычный. Я навостряю уши. Звук ровный, неизменный — едва слышное непрерывное сипение, как если бы какое-то животное тихо и без перерыва выдыхало воздух.

Меня начинает бить дрожь, ведь я понимаю, что придется выйти в эту дышащую темень, чтобы понадежней припрятать шарф. Как в прошлый раз, я неслышно сую ноги в сандалии, натягиваю поверх пижамы свитер и почти с тоской вспоминаю ночь полнолуния и свою ребяческую фантазию, будто мне необходима веревка

с узлами, для того чтобы вылезти из окна. Однако сейчас передо мной задачка потруднее, от веревки тут толку мало. Очень мешает темнота, а еще, конечно, непонятно откуда взявшийся звук. Мешает и дрожь, которую невозможно унять.

Я опять осторожно отодвигаю засов на кухонной двери, шаг за шагом пробираюсь через заросли в палисаднике и останавливаюсь у калитки; улица тиха, воздух напоен ароматами. Чувствуя себя таким же нереальным, как сомкнувшаяся надо мной тьма, я размышляю, в какую сторону двинуться. А странный звук здесь настойчивее. Идет вроде откуда-то издалека и в то же время несется отовсюду. На мгновение мне чудятся приглушенные расстоянием голоса; я сдерживаю дыхание и бьющую тело дрожь, но слышу лишь тот же долгий выдох.

Где же мне спрятать шарф? В сундучке запереть невозможно, там если не полицейский, то Кит уж точно его найдет. Я мысленно перебираю все дома нашего Тупика. Шелдоны, Стотты… «Ламорна», «Тревинник»… Каждый — это запертый мир, в который мне хода нет.

Снова голоса… Затаив дыхание, я опять стараюсь умерить дрожь… Ничего. Лишь неестественно затянувшийся звериный выдох.

На ум приходит одно-единственное надежное место, и я долго стою в темноте, уговаривая самого себя: ведь если больше нигде нельзя, значит… Я иду до конца Тупика и сворачиваю к тоннелю.

На подходе к нему страх нарастает. Ужасает, конечно, непроглядная тьма в жерле, но мало этого, здесь вдобавок что-то изменилось. Чернеющий на фоне темного неба массив насыпи выглядит как-то непривычно. Такое впечатление, что насыпь над кирпичным жерлом разрослась, стала выше, чем прежде. У нее даже контур другой. Линия между чернотой насыпи и небесной тьмой уже не горизонтальная и ровная, а ломаная какая-то, бугристая и непонятная.

Нарушено все: и звуки, и очертания окружающего мира.

Но вот я погружаюсь в непроглядную пустоту под этой необычно массивной насыпью… Под гулкое эхо собственных судорожных вздохов я ощупью бреду вдоль мерзкой осклизлой стены… А выйдя, слышу то же тихое, беспрерывное сипение ночи. Наклоняюсь, чтобы отогнуть ржавую проволоку; этот сип напоминает мне ровное сопение невидимки за моей спиной, когда я пришел сюда в прошлый раз; по спине опять бежит неприятный холодок.

Я пролезаю в дыру и, путаясь в стеблях дикой петрушки, ползу на четвереньках к углублению за кирпичной кладкой, где прежде лежал ящик для крокетных принадлежностей. Вытянув из рукава шарф, тщательно, насколько позволяет темнота, закапываю его в рыхлой влажной земле, среди буйной сорной травы.

От нового неожиданного звука я поднимаю голову. Дальний лай собак. Кто-то бредет по Закоулкам.

Несчастный больной призрак восстал из могилы. Он идет сюда, чтобы наказать меня за предательство, чтобы поймать меня на месте преступления — когда я закапываю драгоценный шарф, который он просил меня передать кому надо. Я выкарабкиваюсь из зарослей, поспешно лезу в дыру. Очертя голову мчусь к тоннелю, но вдруг останавливаюсь, потому что с другого конца ко мне движутся два неярких, прикрытых светомаскировочными чехлами фонаря и два их отражения в лужах; фонари неспешно покачиваются на неровной дороге, поочередно то взлетая вверх, то опускаясь вниз. От влажных стен отдается рокот работающего на низких оборотах мотора.

Глухой ночью — автомобиль?! Да еще в месте,

в котором сроду машин не бывало.

Едет, конечно, в «Сараи», больше ему ехать некуда.

Я опять проползаю под ограждением и, спрятавшись за кирпичной кладкой, жду, пока машина проедет мимо. Сейчас *его* заберут. Заберут, потому что я опять позволил себя запугать и, хоть на этот раз не сдался, опять оказался слабаком: не сумел скрыть все от родителей. А теперь ничего не могу поделать. Только опять спрятаться.

Злясь на самого себя, я жду, что рокот мотора стихнет вдалеке.

Но мотор продолжает урчать — так же негромко и ровно, как таинственное сипение.

Я на несколько дюймов приподымаю голову и выглядываю из-за парапета. Вон автомобиль неясно темнеет между слабо освещенной площадкой — фары же зачехлены — и маленьким красным задним огоньком, тоже в светомаскировочном чехольчике. Стоит себе и урчит мотором. Над красным огоньком распахиваются двери, и по подпорной стенке и насыпи начинают кружить два пятнышка света.

Вдруг одно из пятнышек резко качнулось в мою сторону; я падаю за парапет, как раз когда яркий луч ударяет в лицо.

Я ошибся. Не за ним они приехали. А за мной.

Фонарь высвечивает дыру в ограждении. Я, как в прошлый раз, зарываюсь лицом в углубление, где только что зарыл шарф, и слышу, как кто-то, пролезая под проволокой, цепляется одеждой за колючку. Сопит явно взрослый мужчина. Вот опять проволока рвет ткань: это сюда продирается второй.

С минуты на минуту меня схватят грубые руки, выволокут под слепящий свет фонарей…

Шумное дыхание и хруст ломаемых стеблей все ближе… затем минует меня и затихает. Я слышу скрежет подошв по кирпичу. Они взобрались на парапет — как мы с Китом, когда впервые сюда пришли, — и поднимаются на арку, к маковке тоннельного жерла.

Выходит, они ищут вовсе не меня. Или же, если я шевельнусь, они вернутся и меня найдут, как мы с Китом вернулись и нашли ящик?

Я жду… жду…

Собачий лай уже давно смолк. Если кто-то все еще идет по Закоулкам, то он давно прошел «Коттеджи». Я прямо-таки чую его приближение… Или он уже заметил фары фургона и остановился?

Однако я продолжаю выжидать. Вокруг ни

звука, кроме урчания машины и тихого, неестественного дыхания ночи. Я медленно поднимаю голову над кирпичной кладкой…

И слышу в Закоулках голоса; по насыпи приближается свет фонариков. Их теперь не два, а штук шесть, они медленно скользят вдоль рельсов по тропе путейцев-обходчиков. Время от времени узкий луч, метнувшись в сторону, освещает колеса и низ вагонеток длинного товарняка, что стоит на пути, ведущем в город; иной раз снопик света уходит над тоннелем дальше, к выемке. А один, качнувшись вверх, выхватывает из тьмы часть груза — торчащее из путаницы проводов и обломков металла разбитое серо-зеленое крыло смолета с красно-бело-синим опознавательным знаком и серо-зеленый хвостовой стабилизатор с красно-бело-синей эмблемой.

Я снова падаю лицом в землю: прямо надо мной, оступаясь и скользя, по парапету спускаются люди. В руках у них что-то тяжелое и громоздкое, они шумно пыхтят, лавируя на узком парапете, и негромко бормочут, предупреждая или благодаря друг друга.

Остановившись в трех футах от меня, шумно отдуваются и переминаются с ноги на ногу. Тем временем другие отдирают от бетонных столбов

и отгибают проволочное ограждение, чтобы можно было пронести груз.

Голоса в Закоулках все ближе.

— Нашли его? — громко спрашивает один.

— В общем и целом нашли, — тяжело дыша, отвечает другой. — Хочешь взглянуть?

Пауза, затем по ту сторону кирпичной кладки раздается стон; слышно, что кого-то неудержимо рвет.

Мне ясно одно: все это моих рук дело. Я проявил безволие, только плакал и ничего не рассказал, вот за *ним* и пришли. А он убежал на насыпь и помчался по путям домой в Тупик или, наоборот, в бескрайний вольный мир. Но в темноте, наверно, оступился. И тут страшная тайная сила, скрытая в контактном рельсе, настигла его, а проходящий поезд разрезал на куски.

Задние двери фургона захлопываются. Урчание мотора переходит в рев, который медленно, то взрыкивая, то затихая, удаляется, долгим эхом отдаваясь от стен тоннеля. Затем тоннель оглашается голосами людей, их выкрики и ответный смех сливаются в призрачную какофонию.

Наконец все стихает, и вокруг опять непроглядное безмолвие, слышится лишь тревожащий душу беспрерывный шип. Но я уже понял: это

остановившийся дальше, в выемке, локомотив спускает пар.

Вдруг этот шип набирает силу и переходит в один резкий выдох. Еще один, потом подряд несколько быстрых выдохов, целая серия размеренных выдохов… И вот уже заклацала сцепка между товарными платформами — до самого хвоста состава. И поезд, продолжая прерванный путь, медленно ползет по склону вверх.

Когда я снова ныряю в свою постель, состав уже растворился в глубинах ночи, и тьма опять полна тишиной.

Теперь игра и вправду окончена.

11

Все в Тупике как прежде; и все переменилось. Дома стоят, где стояли, но уже не говорят того, что говорили раньше.

Во всяком случае, мне. Я опять тупо бреду в одну сторону, затем обратно — бросающийся в глаза чужак, бестолковый старик, который шаркает туда-сюда по улицам, сам не зная зачем. Я сворачиваю за угол и опять прохожу под железнодорожным мостом; это еще более пустая затея, поскольку от Закоулков не осталось и следа. Где в этом лабиринте Аллей, Скверов и серповидных Переулков стоял платан с обрывком гнилой веревки? Где был пересохший пруд, где «коттеджи»? А возле кругового разворота, где сейчас уныло торчит заправочная станция, — не там ли, случайно, располагались «Сараи»?

Я направляюсь назад к железнодорожному мосту. С обеих сторон по-прежнему видны кирпичные подпорные стенки, за одной из которых много лет назад был спрятан ящик из-под крокетных принадлежностей. Когда переносили тоннель и расширяли дорогу, кирпич, наверное,

положили заново. А может, с одной стороны старую кладку из экономии сохранили? Кирпичи тут далеко не новые, им явно досталось от непогоды… И градус уклона вроде бы прежний… Внизу, у основания стенки, где раньше висело ржавое проволочное ограждение, располагается электрическая подстанция, отделенная от насыпи новенькой оцинкованной проволочной сеткой. Под сетку уже не подлезть, перебраться сверху тоже невозможно: слишком высоко. Я смотрю сквозь прочные серые ячейки. У подножия насыпи образовалась свалка, и под слоями скопившегося мусора уже не разглядеть, есть ли за кирпичами углубление, в котором кое-что может быть спрятано.

Я испытываю легкую, совершенно беспочвенную досаду. Даже самому себе неловко признаться, но, пожалуй, именно за этим я и пришел к мосту. Не исключено, что все путешествие предпринял исключительно ради этого. Просто чтобы проверить — но теперь, когда мысль облечена в слова, я чувствую, что об этом нелепо и думать, — просто проверить: а вдруг он все еще где-нибудь там лежит? Тот шарф. Единственное реальное доказательство, что весь этот странный сон случился наяву.

Разумеется, я прекрасно отдаю себе отчет, что шарф едва ли мог уцелеть. Сгнил небось еще полвека назад. Если кто-нибудь случайно на него не наткнулся. К примеру, другие ребятишки, занятые игрой своего собственного сочинения. Хемниц… Лейпциг… Цвикау… Интересно, как детвора отнеслась к этим чужеземным названиям. Но, если шарф все же откопали, то к тому времени все три города находились либо в зоне оккупации советских войск, либо в Германской Демократической Республике, и шарф мог навести на мысль о коммунистических, а не нацистских шпионах. Представляю себе, как торжественно ребята несли его в полицию или, проявляя уместную научную любознательность, в местный краеведческий музей. Очень может быть, что я обнаружу его в целости и сохранности в каком-нибудь пропыленном, всеми забытом ящике или под музейным стеклом, рядом с непременным набором соответствующих экспонатов, вроде шрапнели и старых продовольственных карточек.

Почему же я потом не вернулся туда и не забрал шарф сам? Потому, что после той ночи я оказался совсем в другом жизненном пространстве. Дверь за мной захлопнулась, и больше я ее никогда не открывал. Ни разу не возвращался в Закоулки.

Ни разу не ходил по тоннелю. Все это я выбросил из головы. До нынешнего дня. А сейчас впервые за более чем полвека стою здесь, прижавшись к оцинкованной проволоке, ограждающей подстанцию.

Так что же все-таки случилось той ночью? Ничего. Жизнь продолжалась своим чередом. Наутро, помнится, я встал как ни в чем не бывало. Отправился в школу и очень старался целиком сосредоточиться на экзаменах по алгебре и истории. Я наотрез отказывался отвечать на вопросы любопытствующих о забинтованном горле и, насколько мне это удавалось, философски относился к гипотезе, выдвинутой моими приятелями Ханнингом и Нилом, что, скорее всего, я пытался повеситься, да не сумел, потому что чересчур я убогий, чересчур утлый и чересчур Уитли. Родителям я не сказал о ночных событиях ни слова. Они тоже больше не обсуждали со мной рану на горле, и полицейский не приехал меня допрашивать. Папа с мамой, по-видимому, сочли, что все разрешилось само собой и незачем меня понапрасну мучить. Думаю, по факту найденного на путях тела было проведено следствие и опознание личности погибшего, но не помню, чтобы мне привелось что-либо об этом слышать.

В конце концов, шла война. Далеко не все тогда сообщалось и обсуждалось.

Жизнь продолжалась, но несколько иным порядком. Я больше ни разу не ходил к Киту или на наш наблюдательный пункт. И понятия не имею, куда делся штык, так же как и шарф. Быть может, он тоже в музее.

Порой я видел Кита, когда он ехал на велосипеде в школу или домой, но Кит меня не замечал. Изредка я видел в палисаднике перед их домом его отца: он трудился, насвистывая нескончаемые каденции. Время от времени мимо нашего дома проходила с корзиной для покупок или письмами его мать и неизменно улыбалась мне; ее шея все еще была укутана до подбородка легким шарфиком, а с моей бинты уже давным-давно сняли. Однажды мать Кита остановилась и сказала, что я должен как-нибудь зайти к ним попить чаю, но «как-нибудь» так и не стало конкретным днем, а Кит очень скоро уехал — сначала с родителями отдыхать, а потом в школу-интернат учиться.

Тетя Ди тоже улыбалась мне бодрой улыбкой, но мама как-то обмолвилась, что на самом деле тетя Ди в страшном расстройстве: ей пришло сообщение, что дядя Питер пропал без вести, и вдобавок теперь, когда ей особенно нужна

поддержка близких, она явно из-за чего-то рассорилась с матерью Кита. Моя мама старалась иногда помочь тете Ди: сидела с Милли, ходила в магазины, но спустя несколько недель тетя Ди из нашей округи куда-то уехала, и с тех пор ее никто больше не видел. А мама однажды призналась мне, что и сама, как все прочие женщины в Тупике, питала к дяде Питеру некоторую слабость.

Я несколько раз заходил в дом под названием «Ламорна», но Барбара ни разу не вышла играть. Я стал замечать ее в саду напротив, у Эйвери. Чарли Эйвери призвали в армию, и Дейв возился с трехколесным велосипедом один, а Барбара сидела, скрестив ноги, на подъездной дорожке, наблюдала за работой и подавала Дейву инструменты; пупырчатый кожаный кошелек с блестящей защелкой попрежнему болтался у нее на шее. Я тогда впервые изведал муки, которые, как мне предстояло узнать, положено в подобных случаях испытывать.

Аромат цветущих лип и жимолости постепенно развеялся; появился умиротворяющий, сладкий до приторности запах будлеи и тоже исчез; рассеялся и резкий, навязчивый запах база — черной бузины.

Жизнь продолжалась, и я постепенно понял,

что Кит очень во многом ошибался. Но в одном он, на удивление, оказался прав, хотя мне понадобилось несколько лет, чтобы в этом убедиться. В то лето в Тупике на самом деле орудовал немецкий шпион. Только это была не его мать, это был я.

Все как прежде, и все переменилось. Стивен Уитли превратился в этого старика, медленно и осторожно идущего по собственным следам, а зовут старика Штефан Вайцлер. Малорослый наблюдатель, который, сидя в кустах черной бузины, шпионил за жителями Тупика, позже вернулся к тому имени, под коим при рождении был официально зарегистрирован в тихом зеленом районе огромного немецкого города.

Новую жизнь под именем Стивен я начал в 1935 году, когда родители уехали из Германии. Моя мать была природной англичанкой и дома всегда говорила с нами по-английски, но отец сделался еще большим англичанином, и все мы стали носить фамилию Уитли. Мама умерла в начале шестидесятых годов, меньше чем через год отец последовал за ней, и я вдруг почувствовал в душе нарастающее смятение, противоположное тому, которое привело меня сегодня в Тупик. Это тоска по чужому краю, по-немецки Fernweh, которая в моем случае оказывается одновременно

и Heimweh, тоской по родине; эта страшная, тянущая в противоположные стороны сила мучает перемещенных лиц, не отпуская ни на минуту.

В Англии я почему-то так и не стал на ноги. Мой брак так и не превратился в настоящую семейную жизнь, работа на машиностроительном факультете местного политехнического колледжа тоже казалась какой-то ненастоящей. Я изнывал от стремления побольше узнать об отце — о местах, где он рос, где познакомился с моей мамой и они влюбились друг в друга, где я появился на свет. Приехав туда, я выяснил, что первые два года прожил на тихой, утопающей в садах улочке, показавшейся мне волшебной, как во сне, копией Тупика, в котором я позже рос; потому-то и сам Тупик, в свою очередь, казался мне волшебной копией чего-то, виденного где-то раньше.

На своей вновь обретенной родине я провел несколько унылых месяцев, пытаясь одолеть язык, который начал изучать уже в подростковом возрасте — слишком поздно, чтобы вполне в нем освоиться, — одновременно работая среди людей, чьих нравов и обычаев не знал и многого не понимал. От отцовского прошлого почти не осталось следа. Его родителей и двоих братьев схватили и убили. Сестру почему-то не забрали, но она с

двумя детьми погибла в собственном подвале от бомбы, сброшенной дядей Питером или его товарищами по отряду тяжелой авиации.

И тем не менее… Тем не менее я остался. Моя временная работа каким-то образом превратилась в постоянную. Я сомневаюсь, что вам случалось читать английский вариант инструкций по установке и уходу за трансформаторами и высоковольтными распределительными устройствами фирмы «Сименс», но если такие инструкции все же попадали вам в руки, то вы, хотя бы отчасти, знакомы с моей работой. Собственно говоря, предлагаемый в инструкции сюжет опять же не мой, а еще чей-то, точно так же как сюжет с немецким шпионом и прочие затеи моего детства принадлежали не мне, а Киту. То есть я снова играю роль верного вассала.

Разумеется, в один прекрасный день я, как положено, встретил девушку; вскоре я начал смотреть на Германию ее родными глазами, и мое восприятие окружающего снова разом переменилось… Немного погодя появился домик, расположенный на другой тихой, обсаженной деревьями улице… Домик стал нашим домом… Пошли дети, к нам начали наведываться немецкие родственники… А теперь — я еще разобраться-то как следует не

успел, где мое место, здесь или там, и что такое «здесь», и что такое «там», — дети уже выросли, и каждую неделю мы ездим на могилу их матери.

На самом деле в Тупике было *два* шпиона, причем второй — вдумчивый профессионал, одержимый своей работой.

Пытаясь завоевать у Кита хоть каплю уважения, я однажды заявил, что мой отец — немецкий шпион. Как я позже выяснил, это была сущая правда. Во всяком случае, он был немцем и занимался экономической разведкой, правда, в пользу Англии, а не Германии. Вот почему он всего через год вернулся из своей «командировки» на Север. Его досрочно освободили из расположенного на острове Мэн лагеря для интернированных граждан враждебного государства, потому что решили воспользоваться тем, что он был прекрасно знаком с достижениями оптической промышленности Германии и умел разбираться в перехваченных секретных текстах, относящихся к оптической технике. Один человек, занимавшийся историей бомбардировок Германии союзной авиацией, как-то сказал мне, что если бы не достижения отдела, в котором работал мой отец, прицельная оптика у немцев была бы значительно лучше, и, следовательно, дяде

Питеру и его боевым товарищам еще сильнее досталось бы от немецкой противовоздушной обороны.

Полагаю, с возрастом я все больше становлюсь похожим на отца. Ловлю себя на том, что повторяю его странные словечки, которые в детстве меня так раздражали; я же не понимал, что это самые обычные, повседневные немецкие слова. Когда мой сын был маленьким, я, заглянув к нему в спальню, отчитывал его за жуткий Kuddelmuddel, а когда он пытался оправдываться, называл его отговорки чушью:

«Scnickschnack!» — бросал я, в точности как мой собственный отец.

Да, мы были немцами, жившими в стране, которая с немцами воевала, но никто про нас этого не знал. Кроме меня, никто не слышал молений о помощи, с которыми обращались к отцу доведенные до отчаяния беженцы из Германии. Никто не догадывался, на каком языке они разговаривали. А ведь мы вдобавок были ливреями, причем в совершенно неливрейском районе (а таинственные смуглые чужаки из «Тревинника» на поверку оказались православными греками), и этого тоже никто никогда не узнал. Я набожен ничуть не более отца, но, соблюдая усвоенный

с малых лет древний обычай, тоже довожу своих близких до белого каления, требуя, чтобы в пятницу вечером, до появления на небе первой звезды, вся семья собиралась дома.

Почему же родители это скрывали? Думаю, они хотели облегчить жизнь Джеффу и мне. Возможно, в то время это было правильно. Если бы родители Кита знали, кто мы такие, они, наверное, не пустили бы меня на порог. И то сказать: гораздо позже, когда мне все стало известно, жизнь сразу заметно усложнилась. Для меня, но не для Джеффа; хотя он на четыре года дольше меня был немцем, вырос он в четыре раза более истым англичанином. Он-то знал, откуда мы приехали: ему было уже шесть лет, когда мы бежали. Во всяком случае, как он сам мне потом говорил, *вроде бы* знал; а *вроде бы* мы ведь знаем в жизни очень многое. Почему он в отрочестве ничего мне не рассказывал? Потому, вероятно, что, заметив родительскую скрытность, крепко-накрепко усвоил, что на свете есть вещи, о которых не следует говорить никогда.

Впрочем, нет, здесь, наверное, собака зарыта еще глубже. Скорее всего, Джефф интуитивно понял вот что: каких-то вещей лучше не знать вообще.

Во всяком случае, всю жизнь он прожил Джеффом Уитли, и ему в голову не приходило вновь стать Иоахимом Вайцлером. Он женился, переехал в дом, очень похожий на дом в Тупике и находившийся от нашего меньше чем в миле; до пенсии работал местным аукционистом и оценщиком, до седых волос не утратил интереса к дамскому полу и страсти к курению, несколько раз влипал в неприятные истории с замужними женщинами и умер от рака легких; он сильно страдал, но, сколько я знаю, не испытывал особых сожалений о прошлом. Во всяком случае, мне в них не признался. Он даже постарался забыть свой немецкий. Или это мне так казалось. Впрочем, однажды, когда я пришел в хоспис навестить его, умирающего, он в полузабытьи принял меня, видимо, за отца. Взял мою руку, я склонился к самым его губам и вдруг услышал, что он называет меня «Papi» — а не «папочка», как мы звали отца в те времена, которые я ворошу в памяти. Тихим, чуть испуганным голосом он все повторял: «Papi, Papi, ich hab' Angst for dem Dunkeln» — боится, мол, темноты.

Что же сталось со всеми другими детьми нашего Тупика? Сын Макафи погиб в японском лагере для военнопленных. Чарли Эйвери через два

месяца после призыва потерял во время боевых учений глаз и руку. Что сталось с Барбарой Беррилл, я понятия не имею. Кит, наверное, сделался каким-нибудь адвокатом. Когда я разводился с женой, то в знаменитом лондонском «Иннер темпл» увидел табличку с его фамилией: «М-р К.Р.Д. Хейуард». Навряд ли сыщется второй К.Р.Д. Хейуард, правда же? Я едва удержался, чтобы не войти в кабинет взглянуть на него. Почему не вошел? Вероятно, из не изжитого до конца страха. Было это тридцать лет назад; теперь он, наверное, уже судья. Хорошо представляю себе его в этой роли. А может, он уже на пенсии. Пенсионером я его тоже легко могу себе представить: ухаживает за розами и свистит без конца.

Или же умер. Могу я вообразить его мертвым? Не очень-то. Ну а вообразить самого себя лежащим в узкой могиле так же явственно, как в детстве, могу? Нет. Воображение тоже стареет, вместе со всем прочим. Яркие краски тускнеют. И уже не пугаешься так сильно, как встарь.

Я снова иду по улице — надо же оправдать затраты на самолет. Взгляну последний разок, пока не вызвали полицию или социальных работников. «Ламорна», я вижу, теперь просто дом номер шесть. Могло ли название «Дом шесть», нежно

журча, как некогда «Ламорна», смешаться с запахом черной бузины? Вместо буйных зарослей шиповника в палисаднике теперь вдоль подъездной дорожки клумбочки, на них цветут анютины глазки, которые сейчас, стоя на коленях, пропалывает пожилая дама. Она поднимает голову, и я, как громом пораженный, с ужасом, надеждой и смятением понимаю, что передо мной Барбара.

Мгновение она равнодушно смотрит на меня и продолжает прополку. Это не Барбара. Конечно, не она. Нет-нет.

Во всяком случае, занимает меня на самом деле не Барбара; если на то пошло, даже не Кит и не прочие жители Тупика. Меня по-прежнему занимает тот шарф. Покоя не дает. До смерти хочется достоверно выяснить, куда он девался, а остальное уж — Бог с ним.

Едва ли от шарфа можно ждать особых сюрпризов, даже если он каким-то образом попадет мне в руки и я наконец его разверну. Мне и без того ясно, что напечатано на шелке: карта Германии и Западной Европы до самого побережья Ла-Манша; навряд ли что-либо в этом схематическом изображении вызвало бы у какого-нибудь немца интерес как — объект шпионажа или бомбардировок; уж не говоря о том, чтобы спрыгнуть туда

с парашютом. Такая карта непременно лежала в кармане летной куртки у каждого члена *британского* авиаэкипажа — на случай вынужденного бегства: она давала слабую надежду, что, если собьют, с ее помощью можно будет вернуться домой.

Неужели я в то время так и не понял, что ютившийся в «Сараях» сломленный человек — дядя Питер? Конечно, понял. Понял, как только он назвал меня по имени. Нет, раньше. Как только услышал за спиной его дыхание. Или даже еще гораздо раньше. Возможно, уже с самого начала знал. Так же как сам он всегда знал, что одна *она… Всегда одну ее… С самого начала…* Когда же случилось это «самое начало» для него и для нее? Возможно, в тот день, когда он и симпатичная веселая девушка, с которой он только что познакомился в местном теннисном клубе, обнаружили, что им предстоит играть смешанный парный матч против ее сдержанной, уравновешенной старшей сестры и пожилого нелюдимого мужа сестры. *Всегда одну ее…* Даже потом, стоя перед церковной дверью в форме летчика Королевских ВВС и держа под руку другую, *не ту* из сестер.

А может быть, он ничего не понял, как и я ни-

чего о нем не понял. Ведь и услышав его речь, я продолжал считать его *немцем.* Цеплялся за мысль, что он немец. Его немецкость висела в воздухе, вездесущая и преобразующая все вокруг, как запах черной бузины и звуки Ламорны. Но что бы и когда бы я в глубине души ни понял, я в то же время знал, что это не должно быть известно никому и никогда.

Опять, как по приезде, я смотрю на небеса — единственное, что не изменилось на нашей улице. И думаю о непреодолимом ужасе, охватившем *его* там, в темной пустоте, на высоте десяти тысяч футов от земли и на расстоянии пятисот миль отсюда. А еще думаю об ужасе, охватившем, наверное, мою тетку и ее детей, когда удушающий дым от горящего дома заполнил темный подвал в десяти тысячах футов под *ним* или кем-то из его товарищей.

Думаю про преследовавший его потом позор, от которого он сбежал в то мрачное подземелье. Моя тетка с детьми были, по крайней мере, избавлены от позора.

Что же мы творили друг с другом в те несколько безумных лет! Что же мы с собой творили!

Теперь все загадки решены — настолько, насколько вообще возможно их решить. Осталась

лишь привычная тупая ломота в костях, как старая рана, что ноет при перемене погоды. Heimweh или Fernweh? Стремление быть там или здесь, хотя я уже и так здесь? Или в обоих местах одновременно? Или ни там и ни сям, а в стране прошлого, куда не попасть ни оттуда, ни отсюда?

Пора уходить. Итак, опять — всем спасибо. Большое спасибо за компанию.

И когда я в конце улицы сворачиваю за угол, ветерок доносит чуть слышный знакомый запах. Сладковатый, резкий и глубоко волнующий.

Подумать только, даже здесь. Даже теперь.